

П. В.
АННЕНКОВ

Сочинения



Павел Васильевич Анненков
Замечательное
десятилетие. 1838–1848
Серия «Литературные воспоминания»

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2572315

Аннотация

В «Замечательном десятилетии» наиболее ярко проявилось свойство Анненкова-мемуариста, подмеченное И. С. Тургеневым, его «энциклопедически-панорамическое перо». Сложность темы, многоплановость материала обусловили и форму воспоминаний – членение их на массу небольших главок, содержащих то живые зарисовки, то критические экскурсы и раздумья автора.

Анненков долго вынашивал «Замечательное десятилетие». Поначалу, как всегда у Анненкова, это были «разбросанные заметки», отдельные наблюдения и мысли, которые он заносил на бумагу по мере их возникновения. И лишь впоследствии, уже в семидесятых годах, из этих разбросанных заметок стало складываться «нечто органическое».

Содержание

I	4
II	15
III	23
IV	38
V	51
VI	54
VII	61
VIII	66
IX	78
X	85
XI	93
XII	106
XIII	115
XIV	121
XV	127
Конец ознакомительного фрагмента.	131
Комментарии	

Павел Васильевич Анненков Замечательное десятилетие 1838–1848

I

...Я познакомился с Виссарионом Григорьевичем Белинским за год до моего отъезда за границу, именно осенью 1839 года. Он приехал тогда в Петербург для сотрудничества в «Отечественных записках», привезенный из Москвы И. И. Панаевым, и уже находился во втором или третьем периоде своего развития^{[\[1\]](#)}.

Известно, что Белинский выступил на литературное поприще статьей в «Молве» 1834 года, носившей заглавие «Литературные мечтания – элегия в прозе». Это было обозрение русской словесности, обратившее на себя внимание бойкостью слова и характеристикой эпох и лиц, которая не имела никакого сходства с обычными и, так сказать, узаконенными определениями их в наших курсах словесности. Лирический тон статьи с философским оттенком, заимствованным от системы Шеллинга, сообщал ей особенную оригиналь-

ность. Все было тут молодо, смело, горячо, а также и исполнено промахов, сознанных и самим автором впоследствии; но все обличало возникновение каких-то новых требований мысли от русской литературы и русской жизни вообще. Стари́к Каченовский^[2], – вероятно, обольщенный свободными отношениями критика к авторитетам и частыми отступлениями его в область истории и философии, старый профессор, призвал тогда к себе Белинского, – этого студента, еще не так давно исключенного из университета за малые способности, как говорилось в определении совета, жал ему горячо руку и говорил: «Мы так не думали, мы так не писали в наше время»¹. Менее волнения, конечно, произвела статья в Петербурге, где уже созревали известные сатурналии только что основанной «Библиотеки для чтения», с ее глумлениями над наукой и над всяческими убеждениями^[3]; но и здесь статья не прошла незамеченной мимо глаз. С этих пор именно Н. И. Греч^[4], как человек, еще более других приличный в сонме литературных публицистов той эпохи, усвоил систему воззрения на Белинского, сравнительно еще благосклонную. Он высказывал ее потом не раз во всеуслышание: «Умный человек, но горький пьяница, и пишет свои статьи, не выходя из запоя». Белинский-пьяница был так же мыслим, как Лессинг на канате, или что-нибудь подобное. С тех же пор Ф. В. Булгарин, с своей стороны прозвавший Белинского

¹ Рассказ В.Г. Белинского.

«бульдогом», начал свою, столь долго не прерываемую жалобу на извращение умов, свои чуть не 20-летние нападки на новый дух в литературе, грозящий лишить Россию, к стыду потомков и посрамлению перед Европою, всех ее умственных сокровищ².

Впрочем, как ни зазорна была статья Белинского по своей форме, особенно для петербургских самозванных знаменитостей, в обличении и опозорении которых критик, по собственному признанию, находил *блаженство неизъяснимое, сладострастие безграничное*, но, собственно, она нисколько не потрясала ни одного из наших старых авторитетов и постоянно ко всем им относилась с величайшим энтузиазмом. Смелость заключалась не столько в исследовании, сколько в началах и принципах, высказанных критиком и предпосланных исследованию. Статья более грозила обличением людям и предметам, и только над очень немногими из них исполняла угрозу. Белинский еще не вносил ни малейшего раскола в тот молодой кружок, сформировавшийся в начале тридцатых годов, под сению Московского университета, из которого потом вышли самые замечательные личности последу-

² Жалобы эти не остались без последствий для литературы. При издании Пушкина (1854 г.) возникли цензурные затруднения при передаче суждений нашего поэта о Державине, так как прежде того состоялось распоряжение цензурного комитета оберегать от непрошенных критик имена Державина, Ломоносова, Карамзина, а также и личность самого Булгарина. Никто не чувствовал тогда обиды, наносимой первым трем великим именам нашего отечества этим уравниванием их с персоной издателя «Северной пчелы». (Прим. П.В. Анненкова.)

ющих годов. Зародыши различных и противоборствующих мнений уже находились в нем, как легко убедиться из имен, составлявших его персонал (К. Аксаков, Станкевич и др.), но зародыши эти еще не приходили в брожение и таились до поры до времени за дружеским обменом мыслей, за общностью научных стремлений. Достаточно вспомнить, что К. С. Аксаков был тогда германизирующим философом, не менее Станкевича; П. Киреевский – завзятым европейцем и западником, не уступавшим Т. Н. Грановскому; а последний, скоро присоединившийся к этому кругу, после сотрудничества своего в «Библиотеке для чтения» Сенковского, делил вместе со всеми ими поэтическое созерцание на прошлое и настоящее России. Белинский, который так много способствовал впоследствии к разложению круга на его составные части, к разграничению и определению партий, из него выделившихся, является на первых порах еще простым эхом всех мнений, суждений, приговоров, существовавших в недрах кружка и существовавших без всякого подозрения о своей разнородности и несовместимости^[5]. Вот почему восторженная статья Белинского, отличавшаяся капризным ходом, некоторою разорванностью и недостатком сосредоточенности, представляет еще бессознательное смешение наименее родственных или схожих друг с другом настроений. Чисто славянофильское представление идет здесь рядом с чисто западным; афоризмы тогдашней скептической исторической школы нашей наталкиваются на гиперболы, достойные Сер-

гея Глинки в самые сильные минуты его патриотического одушевления; ^[6] либерализм и консервативное учение (если можно употреблять эти термины, занимаясь эпохой, не знавшей самых явлений, которые ими обозначаются) попеременно возвышают голос, нисколько не смущаясь своим соседством. Для примера, как начинающий критик наш стоял еще тогда одновременно и за реформу Петра I, и за московскую оппозицию реформам, достаточно напомнить некоторые из положений статьи.

Значение народных обычаев и нерушимое их сбережение в среде племени составляло еще для Белинского 1834 года дело первой и точно такой же важности, каким оно казалось впоследствии для наиболее ярых противников молодого критика из славянской партии. В простых и грубых нравах он находил еще, вместе с последними, отблески поэзии, называя только жизнь, ими создаваемую, хотя самобытной и характерной, но односторонней и изолированной. Наоборот, будущие славянофилы, вероятно, вполне разделяли тогда мнение Белинского, а именно, что в реформах своих Петр Великий был совершенно прав и народен нисколько не менее любого московского царя старой эпохи. Особенно характерно то место в статье, где, переходя на сторону великого реформатора, он предпосылает, однако же, скорбное, прощальное воззвание к погибающей старине и притом в словах и образах, которые теперь, при определившейся личности Белинского, составляют для нас как будто невероятную,

фальшивую черту, искажающую его физиономию. «Прочь достопочтенные, окладистые бороды, – говорит он. – Прости и ты, простая и благородная стрижка волос в кружок, ты, которая так хорошо шла к этим почтенным бородам! Тебя заменили парики, осыпанные мукою!.. Прости и ты, прекрасный поэтический сарафан наших боярынь и боярышень, и ты, кисейная рубашка с пышными рукавами, и ты, высокий, униженный жемчугом повойник – простой чародейный наряд, который так хорошо шел к высоким грудям и яркому румянцу наших белоликих и голубооких красавиц... Простите и вы, заунывные русские песни и ты, благородная и грациозная пляска: не ворковать уже нашим красавицам голубками» и т. д.

Вот откуда выходил Белинский. Либерализм безличного дружеского кружка тоже был представлен в статье довольно полно, самым основным ее положением, по которому литература наша есть дело случайного возникновения и соединения нескольких более или менее талантливых лиц, в которых общество не нуждалось и которые сами, в нравственном и материальном отношении, могли обходиться без общества. Отсюда – ничтожество литературы и слабость писателей, несмотря на их качества, таланты и усердие. Можно догадываться, что в круге ходило с успехом и европейское представление о важности буржуазии и tiers-etat³. для государства, потому что Белинский ищет в разных сословиях на-

³ третьего сословия (франц.)

шего отечества тех деятелей, которые помирят европейское просвещение с коренными основами русской народности, назначая для этой роли духовенство, купечество, городских людей, ремесленников, даже мелких торговцев и промышленников⁴, и тут же оговариваясь, ввиду возможных воззрений с другой стороны, а именно, что «высшая жизнь народа преимущественно выражается в его высших слоях или, *вернее всего, в целой идее народа*». Словом, знаменитая первая статья maid-speech⁵ Белинского отлично выражала тогдашнее интеллектуальное состояние образованной молодежи, у которой все виды направлений жили еще как в первобытном раю, обок друг с другом, не находя причин к обособлению и не страшась взаимной близости и короткости. Связующим поясом была тут одинаковая любовь к науке, свету, свободной мысли и родине. Можно уподобить это состояние значительному водному бассейну, в котором будущие реки и потоки мирно текут вместе до той поры, когда геологический переворот не разделит их и не откроет им пути в противоположные стороны. Белинский именно был тем подземным огнем, который ускорил этот переворот.

Немудрено, если придет кому-нибудь в голову спросить: стоит ли так долго останавливаться на журнальной статей-

⁴ Кольцов уже введен был тогда Станкевичем в круг московских друзей его и, по всей вероятности, был косвенной причиной тех надежд, которые выражал Белинский на людей *среднего положения*. (Прим. П.В. Анненкова.)

⁵ первое выступление (англ.)

ке, не совсем свободной от противоречий и вдобавок еще с определениями, от которых потом отказался сам автор ее? Вопрос легко устраняется, если вспомнить, что статья произвела необычайное впечатление как первый опыт ввести историю самой культуры нашего общества в оценку литературных периодов. Нужно ли говорить, как она была принята молодыми умами в Петербурге, сберегавшими себя от *заговора* против литературы^[7], устроивавшегося перед их глазами? Для них она упраздняла множество убеждений и представлений, вынесенных из школы. Протестующий характер статьи и этом отношении был очень ясен не только для тех корифеев партии «Библиотеки для чтения», о которых мы говорили, но и людям, соглашавшимся со многими из ее положений, но не любившим видеть бесцеремонное колебание преданий, да еще на основании чужих философских систем. Таковы были Пушкин и Гоголь. И тот и другой были оценены весьма благосклонно критиком, но сохраняли о нем почти всю жизнь упорное молчание. Первый, по свидетельству самого Белинского, только посылал к нему тайно книжки своего «Современника», да говорил про него: «Этот чудака почему-то очень меня любит»⁶. Суждение второго мы сами слышали: «Голова недюжинная, но у нее всегда чем вернее первая мысль, тем нелепее вторая». Замечание касалось выводов, добываемых Белинским из своих эстетических и философских основа-

⁶ Пушкин прибавлял, по тому же свидетельству, секретно и еще замечание, что у Белинского есть чему поучиться и тем, кто его ругает. (Прим. П.В. Анненкова.)

ний и о приложении этих выводов прямо и непосредственно к лицам и фактам русского происхождения, хотя тот же Гоголь указывал позднее на статьи Белинского о его собственной, гоголевской деятельности как на образцовые по своей неотразимой истине и мастерскому изложению.

Итак, в Петербурге первая статья Белинского и все следовавшие за ней нашли отголосок всего более в тех молодых учителях русского языка и словесности, которые созывались для казенных замкнутых училищ и корпусов, разраставшихся, по принятой системе, все более и более в исключительные заведения для воспитания всего *благородного* русского юношества целиком. Не то чтобы статья «Молвы» сразу упразднила официальную науку о литературе: последняя держалась долго, красовалась еще на экзаменах вплоть до преобразования закрытых школ и корпусов, но, благодаря молодым учителям этих заведений, а за ними и большей части наших гимназий, образовалась, с появления статей Белинского, обок с утвержденной программой преподавания русской словесности, другая, невидная струя преподавания, вся вытекавшая из определений и созерцания нового критика и постоянно смылавшая в молодых умах все, что заносилось в них схоластикой, педантизмом, рутинной, стародавними преданиями и благонамеренной прикрасой. Растительное действие этой невидимой струи увеличивалось вместе с дальнейшим развитием критика, с которого, можно сказать, персонал учителей и молодых людей вообще той эпо-

хи не спускал глаз, и, таким образом, имя Белинского было уже очень громко в среде нарождающегося поколения, в школах и аудиториях, когда оно еще не признавалось в литературных партиях, не ведалось добросовестно или ухищренно одними, возбуждало презрительные отзывы других и не обращало никакого внимания даже самих чутких стражей русского просвещения. Работа Белинского и его воодушевленной мысли, искавшей постоянно идеалов нравственности и высокого, философского разрешения задач жизни, — эта работа не умолкала, покуда сам он числился скромно в рядах русских второстепенных подцензурных писателей и журнальных сотрудников. Для тогдашнего цензурного ведомства первостепенными писателями долгое время были только одни редакторы журналов — Сенковский, Греч, Булгарин, за исключением Пушкина и Гоголя, слишком уже ярко выступавших вперед. Чрезвычайным счастьем должно считаться то, что тогдашняя цензура не угадала в Белинском на первых порах моралиста, который, под предлогом разбора русских сочинений, занят единственно исканием основ для трезвого мышления, способного устроить разумным образом личное и общественное существование. Впоследствии она распознала в нем влиятельного писателя и всемерно старалась не допускать применение его идей к историческим лицам и современности, но и при этом способе понимания деятельности Белинского она отчасти все-таки продолжала считать его, с голоса «Северной пчелы», за человека, про-

изводящего преимущественно малопонятную, туманную чепуху, которая может быть терпима по самой дикой своей оригинальности, становясь безвредной тем более, чем сильнее и подробнее высказывается. Этому обстоятельству мы и обязаны сохранением некоторых существенных положений и мыслей у Белинского, которые пробирались на свет под именем чудовищностей и нелепостей. Это же обстоятельство поясняет многое в последующих явлениях общественной жизни нашей, которые без того могут показаться странными, неожиданными и негаданными сюрпризами.

II

Я сошелся с Белинским в первый раз у А. А. Комарова, преподавателя русской словесности во 2-м кадетском корпусе. Комаров занимал и квартиру в зданиях корпуса.

Приезд Белинского в Петербург имел особенное значение, как уже было сказано, для небольшого круга тогдашних молодых людей, которые в литературном триумвирате О. И. Сенковского, Н. И. Греча и Ф. В. Булгарина, выросшем на благодатной почве смирдинских капиталов, вконец ими истощенных, – видели как бы олицетворение затаенного презрения к делу образования на Руси, образец хитрой, расчетливой, но ограниченной практической мудрости, а наконец – ловко устроенный план надувательства благонамеренностью и патриотизмом тех лиц, которых нельзя было надуть другим путем. Надо сказать, что это дело в три руки производилось с замечательным искусством.

Неистошимое, часто дельное и почти всегда едкое остроумие Сенковского, глумившегося над русской quasi-наукой, старалось вместе с тем удалить всякую серьезную попытку к самостоятельному труду и отравить насмешкой источники, к которым труд этот мог бы обратиться. Греч распространялся о разврате умов и совестей в Европе, умиляясь зрелищем здорового нравственного состояния, в каком находилась наша родина, а товарищ его беспрестанно указывал на

те тонкие струи яда и отравы, которые, несмотря на усилия триумvirата, все-таки пробиваются к нам из чужбины и извращают суждения публики о русских писателях и русских деятелях вообще. Замечательно, что эти великие мужи петербургской журналистики тридцатых годов иногда и ссорились между собою, не доходя, впрочем, до явного разрыва, но ссорились из-за права *протекции* над писателями, которую каждый хотел иметь в своих руках исключительно. Протекция сделалась основным критическим мотивом, направлявшим оценку лиц и произведений. Протекция раздавала места так же точно в литературе, как и в администрации: она производила в чины и звания талантов людей, как гг. Масальского, Степанова, Тимофеева и др., и даже несколько раз жаловала просто в гении, как, например, Кукольника и «барона Брамбеуса»^[8]. Нынешнему времени трудно и понять ту степень негодования, какую возбуждали органы этой самозванной опеки над литературою в людях, желавших сохранить по крайней мере за этим отделом общественной деятельности некоторый призрак свободы и человеческого достоинства. При отсутствии общественных и политических интересов бороться с триумvirатом становилось почти делом чести; по хорошему или дурному отношению к триумvirату стали узнавать в некоторых кругах молодежи – впрочем, очень немногочисленных – нравственные качества людей. Вражда к триумvirату еще усилилась, когда оказались практические следствия распоряжения, состоявшегося око-

ло того же времени, – вовсе не допускать соперничества журналов и терпеть одни уже существующие издания, что приравняло органы триумvirатов к нынешним концессиям железных дорог, *с гарантией правительства*. Приезд Белинского был, как сказано, особенно важен тем, что возвещал новую попытку бороться с литературными концессионерами после трех неудачных попыток: двух в Москве, принятых сперва «Телескопом», а затем «Московским наблюдателем», – журналом, даже и основанным именно с этой целью в 1835 году⁷. Третья, в Петербурге, взята была на себя «Современником» Пушкина – и тоже безуспешно^[9]. С новым правилом о журналах, казалось, все походы против откупщиков общественного мнения должны были прекратиться. Правило это очень походило на позднейшее распоряжение относительно раскольников, которым дозволялось сохранять свои старые часовни и молельни с строгим запрещением воздвигать новые около них, но разнилось от него тем, что тогдашнее цензурное ведомство признало возможным допустить официальное подновление старых литературных часовень, чего раскольники не могли делать с своими иначе, как тайно или с подкупом. В это время А. А. Краевский, тогда еще сравнительно молодой человек, усиленно до-

⁷ Для поддержания этого издания Гоголь принял на себя роль пропагандиста и собирал подписки со всех своих знакомых в Петербурге – и, прибавим, чрезвычайно настойчиво и энергично. Каждый из нас должен был иметь и имел своего «Наблюдателя». (Прим. П.В. Анненкова.)

бывался возможности очистить себе место в ряду журнальных концессионеров эпохи, и это — надо сказать правду — не по одному ясному материальному расчету, но и по нравственным побуждениям: противопоставить злой вооруженной силе другую, тоже вооруженную силу, но с иными основаниями и целями. Он принялся искать редакторского кресла для себя по всем сторонам и притом с выдержкой, упорством и твердостью, действительно замечательными, плодом которых было появление сперва «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду» под сто редакцией (диплом на издательство приобретен был тогда известным Плюшаром у довольно мелочного, хитрого и скупого старика Воейкова), в которых, как известно, участвовал и Белинский. Затем, в 1838 году, А. Л. Краевский открыл и перекупил право на возобновление «Отечественных записок» у известного П. Свиньина, прямо уже от своего имени, и, по сделке с ним, не покидая еще «Прибавлений», объявил о выходе своего старонowego журнала, сделавшегося вскоре настоящей его собственностью. Клич, который он тогда кликнул, с одобрения самых почетных лиц петербургского литературного мира, ко всем еще не подпавшим под позорное иго журнальных феодалов, отличался и очень верным расчетом и признаками полной искренности и благонамеренности. «Если и эта новая попытка, — говорил новый издатель своим сторонникам, — противопоставить оплот смирдинской клике не удастся, то всем нам останется только сложить руки и провозгласить ее

торжество».

Бедный А. Ф. Смирдин и не вообразал, что даст свое имя для обозначения очень неблагоприятного литературного периода. Честный, добрый, простодушный, но без всякого образования, он соблазнился, получив неожиданно довольно большое состояние от книгопродавца Плавильщиков а, ролью двигателя современной литературы и просвещения. Кажется, самый этот каприз был еще подсказан ему петербургскими журналистами, которые и завладели честолюбивым торговцем для своих целей. Меценат-книгопродавец, подавленный их авторитетом, смотрел на весь мир их глазами, расточал деньги по их советам и говорил на своем купеческо-приказчиьем языке про всякое начинание, про всякий талант, не искавший покровительства триумvirатов: «Это наши недоброжелатели-с!» А что делали с ним его доброжелатели, успевшие потом разорить и еще одного такого же импровизированного двигателя русского просвещения, книгопродавца Плюшара, издателя «Энциклопедического словаря» – почти неимоверно. Я сам слышал из уст Смирдина, уже в эпоху его бедности и печальной старости, рассказ, как, по совету Булгарина, он предпринял издание, кажется, «Живописного путешествия по России», текст которого должен был составить автор «Выжигина», взявшийся также и за заказ гравюр в Лондоне. В этом смысле заключен был формальный контракт между ними, причем Смирдин назначал 30 тысяч рублей на предприятие. Долго ждали картинок, но,

когда они пришли, Смирдин с ужасом увидел, что они состоят из плохих гравюр, исполненных в Лейпциге, а не в Лондоне. На горькие жалобы Смирдина в нарушении контракта Булгарин отвечал, что никакого нарушения тут нет, потому что в контракте стоит просто: заказать за границей. Ловушка была устроена грубо и нагло, но книгопродавец попался в нее. Когда Смирдин рассказывал мне этот пассаж, усталые, воспаленные глаза его налились слезами, голос задрожал: «Я напишу свои записки, я напишу «Записки книгопродавца»!» — бормотал он.

Вызывающее действие этого нового клича собрало под знамя обновленного журнала много старых и молодых сил, державшихся в стороне от литературы, как то доказал первый громадный номер «Отечественных записок» (1839 года), исполненный замечательными, по времени, статьями; все они принадлежали перу и начинающих и заслуженных наших писателей. Бедные и богатые принялись работать на журнал г. Краевского почти без вознаграждения или за ничтожное вознаграждение, доставляя только издателю средства бороться с капиталистами, заправлявшими делами литературы, что продолжалось несколько долее, чем бы следовало, как впоследствии думали иные; но это относится к предположениям, которые так и должны остаться предложениями, и о которых ничего другого сказать нельзя. Любопытен, однако, анекдот, ходивший тогда по городу: Ф. В. Булгарин, по чувству самосохранения, скоро угадал новую силу,

являющуюся на журнальном поприще с «Отечественными записками», и опасность, которая грозит авторитетам колонновожатых печати, если она решительно обратится против них. При встрече с редактором нового журнала Ф. В. Булгарин предлагал ему просто-запросто присоединиться к союзу журнальных магнатов и сообщая с ними *управлять делами* литературы. Предложение было, конечно, устранено собеседником.

Возвращаясь к делу, следует заметить, что последующие номера журнала представляли, как и первый номер его, опять много прекрасных стихотворений, дельных статей и даже умных критик, но не обнаруживали в редакции ничего похожего на определенные начала, на литературные убеждения и тенденции, которые одним искусством в ведении журнального дела, в собирании людей около себя, одним трудолюбием и даже упорною ненавистью к врагам еще не могут быть заменены с успехом. В Петербурге оказался с «Отечественными записками» великолепный склад для ученых и беллетристических статей, но не оказалось учения и доктрины, которых можно было бы противопоставить развратной проповеди руководителей «Библиотеки для чтения» и «Северной пчелы». Приходилось оглянуться на Москву, которая действительно была тогда средоточием нарождавшихся сил и талантов, сильно работала над философскими системами, доискиваясь именно *принципов*, и не боялась ни резкого полемического языка, ни даже отвлеченного, туманного скла-

да речи, лишь бы выразить вполне свою мысль и нажитое убеждение. Рассказывают, что при имени Белинского, предложенного И. И. Панаевым, г. Краевский не узнал в нем того человека, который должен был положить основание его общественному значению⁸. Обстоятельства принудили его все-таки обратиться к Белинскому, но когда критик наш, после предварительных переговоров, весьма облегченных тем, что, покинув «Московский наблюдатель» 1838 года, Виссарион Григорьевич не имел уже органа для своей деятельности и средств для существования, когда, говорим, критик явился в Петербург в 1839 году на постоянное жительство и сотрудничество по журналу г. Краевского, общее предчувствие в круге противников петербургского направления было, что вместе с ним явилась на сцену и живая мысль и достаточно сильная рука, чтоб подорвать или по крайней мере ослабить наконец союз литературных промышленников, в сущности презиравших русское общество со всеми его стремлениями, надеждами и с его претензиями на устройство своей духовной жизни.

⁸ «Литературные воспоминания» И. Панаева, «Современник», 1861, февраль. (Прим. П.В. Анненкова.)

III

Под впечатлением страстного тона философских статей Белинского и особенно пыла его полемики позволительно было представлять его себе человеком исключительных мнений, не терпящим возражений и любящим господствовать над беседой и собеседниками. Признаюсь, я был удивлен, когда на вечере А. А. Комарова мне указали под именем Белинского на господина небольшого роста, сутуловатого, со впалой грудью и довольно большими задумчивыми глазами, который очень скромно, просто и как-то сразу, по-товарищески, отвечал на приветствия новых знакомящихся с ним людей. Разумеется, я уже не встретил ни малейшего признака внушительности, позирования и диктаторских замашек, каких опасался, а, напротив, можно было подметить у Белинского признаки робости и застенчивости, не допускавшие, однако ж, и мысли о какой-либо снисходительной помощи или о непрошенных услугах какого-либо торопливого доброжелателя. Видно было, что под этой оболочкой живет гордая, неукротимая натура, способная ежеминутно прорваться наружу. Вообще неловкость Белинского, спутанные речи и замешательство при встрече с незнакомыми людьми, над чем он сам так много смеялся, имели, как вообще и вся его персона, много выразительного и внушающего: за ними постоянно светился его благородный, цельный, независимый

характер. Мы слышали об увлечениях и порывах Белинского, но никаких порывов и увлечений в этот первый вечер моего знакомства с ним, однако ж, не произошло. Он был тих, сосредоточен и – что особенно поразило меня – был грустен. Поверяя теперь тогдашние впечатления этой встречи всем, что было узноано и расследовано впоследствии, могу сказать с полным убеждением, что на всех мыслях и разговорах Белинского лежал еще оттенок того философско-романтического настроения, Которому он подчинился с 1835 года и которому непрерывно следовал в течение четырех лет, несмотря на то, что сменил Шеллинга на Гегеля в 1836–1837 году, распрощался с иллюзиями относительно своеобразной красоты старорусского и вообще простого, непосредственного быта и перешел к обожанию «разума в действительности». Он переживал теперь последние дни этого философско-романтического настроения. В тот же описываемый вечер зашел разговор о какой-то шутовской рукописной повести, на манер Гофмана, сочиненной для потехи сообща несколькими лицами, на сходках своих, ради время убийения. «Да, – сказал серьезно Белинский, – но Гофман – великое имя. Я никак не понимаю, отчет доселе Европа не ставит Гофмана рядом с Шекспиром и Гете: это писатели одинаковой силы и одного разряда».

Положение что и другие, ему подобные, Белинский унаследовал и сберегал еще от эпохи шеллинговского созерцания. по которому, как известно, внешний мир был причаст-

ником великих эволюции абсолютной идеи, выражая каждым своим явлением минуту и ступень ее развития. Оттого фантастический элемент гофмановских рассказов казался Белинскому частицей откровения или разоблачения этой всетворящей абсолютной идеи и имел для него такую же реальность, как, например, верное изображение характера или передача любого жизненного случая. В описываемую эпоху он уже принадлежал всецело Гегелю и вполне усвоил идеалистический способ пояснять себе явления окружающей жизни, людей и события, что сообщало последним почти всегда в его устах какой-то грандиозный характер, часто вовсе ими не заслуживаемый. Мелких практических изъяснений какого-либо факта и вопроса, мало-мальски выходящих из обыкновенного порядка дел, он вообще не любил и только по особенному настроению, принятому на себя преднамеренно в Петербурге, еще принуждал себя выслушивать их. Конечно, уже не было у него прежней, еще недавней, восторженной проповеди о «великих тайнах жизни», *без предчувствия и разгадки которых существование человека сделалось бы, как он говорил, не только бесцветным, но положительно величайшим бедствием, какое только можно было бы придумать для земно рожденных*, но все-таки наш русский мир, наша современность, даже некоторые подробности жизни отражались не иначе в его уме, как в многозначительных образах, в широких обобщениях, поражавших и увлекавших новых его слушателей. Вообще корни всех ста-

рых, уже пройденных им учений и созерцаний еще жили в нем, по приезде в Петербург, тайной жизнью и при всяком случае готовы были пустить ростки и отпрыски и действительно по временам оживали и цвели полным цветом, что составляло, посреди занятого петербургского круга приятелей Белинского, величайшую его оригинальность и вместе неодолимую притягивающую силу.

Замечательным и волнующим явлением того времени были посмертные сочинения Пушкина, которые постепенно обнародовал «Современник» 1838–1839 годов, перешедший в руки П. А. Плетнева. Они – эти чудные сочинения – находили в Белинском такого, можно сказать, энтузиаста и ценителя, какой еще и не выпадал на долю нашего великого поэта. Это уже был не тот Белинский, который года за два перед тем и еще при жизни Пушкина считал деятельность его завершенной окончательно и в последних произведениях его хотя и распознавал еще печать гениальности, но заявлял, что они все-таки ниже того, что можно было бы ожидать от его пера. Теперь это было поклонение безусловное, почти падение в прах пред святыней открывающейся поэзии и перед вызвавшим ее художником. Особенно «Каменный гость» Пушкина произвел на Белинского впечатление подавляющее. Он объявил его произведением всемирным и колоссальности неизмеримой. Когда однажды мы просили его разъяснить, в чем заключается мировое значение этого создания и что он еще находит в нем, кроме изящества образов, поэтичности ха-

ракторов и удивительной простоты в ведении очень глубокой драмы, Белинский принялся за развитие той мысли, что все это составляет только внешнее отличие произведения, а подземные ключи, которые под ним бегут, еще важнее всем видимой и осязаемой его красоты. Он принялся за расследование этих живых источников, но на первых же положениях остановился и сконфуженно проговорил: «Вот этак со мной всегда случается: примусь за дело, занесусь бог знает куда, да и опешусь; не знаю, как выразить мою мысль, которая, однако ж, для меня совершенно ясна». Он махнул рукой и отошел в сторону с каким-то болезненным выражением лица. Видимо, что в драме Пушкина заключено было для него новое откровение одной из «тайн жизни», передача одной из «субстанций», как тогда говорили, человеческого духа, но он не мог или не хотел разъяснять их перед кружком, мало подготовленным к пониманию отвлеченностей и не отличавшимся склонностью к «философированию».

Со второй или третьей встречи, однако же, обнаружилась у Белинского та добродушная веселость, порождаемая иногда самыми незначительными, даже пошлыми, выходками собеседников (что несколько удивляло меня сначала), которая соединялась у него всегда с какой-то незлобивой, почти ласковой насмешкой, с легкой иронией над самим собой и над окружающими. Со всем тем сквозь тогдашнюю веселость Белинского пробивалась все та же неотстраняемая черта грусти. Он был печален, и не случайно, а как-то глубоко, задум-

шевно. Не нужно было быть ни особенно зорким наблюдателем, ни особенно искусным психологом, чтобы открыть эту черту: она бросалась в глаза сама собою. И немудрено было ей отказаться: Белинский переживал страдания своего разрыва с московскими друзьями, только что обнаружившегося перед его отъездом из Москвы, и должен был чувствовать сильнее горечь этого обстоятельства теперь, в чужом, незнакомом и неприветливом городе, куда был занесен ^{10}.

Очень несправедливо думали и думают еще теперь, что Белинскому было нипочем расставаться с людьми и менять свои отношения к ним на основании различия убеждений. Многие тогда говорили и чуть не печатали, что он находил даже в том выгоду, ибо всякий такой поворот открывал исток его желчи, злобным инстинктам, склонности к ругательству и оскорблению, которые иначе задушили бы его! Могу сказать наоборот, что редко встречал я людей, которые бы более страдали, будучи принуждены, вследствие неотстранимого логического и диалектического развития своих принципов, удаляться в другую сторону от прежних единомышленников. Он долго мучился как потерей старого созерцания, так и потерей старых собеседников, и только убежденный в законности поворота, им сделанного, освобождался от всех тревог и приобретал новое качество, именно гнев и негодование против тех, которые его задерживали на пути и напрасно занимали собой.

Первая попытка критически отнестись к составным ча-

стям московского интеллектуального кружка и подвергнуть его анализу, за которым должно было последовать отделение различных элементов, его составлявших, положена, как известно, Белинским в статье под заглавием «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя»», помещенной в «Телескопе» 1836 года... Статья эта в полемическом смысле принадлежит к мастерским вещам автора и по яркости красок и резкой очевидности доводов не утеряла, кажется нам, относительной занимательности и донныне. Вся она обращена была против главного критика «Московского наблюдателя» С. П. Шевырева, у которого он спрашивал, чему он верует, какие законы творчества и основные философско-эстетические или эфические идеи исповедует, – разоблачая при этом его дилетантские отношения ко всем художественным теориям, его обычай сочинять законы и правила вкуса для оправдания личных своих вкусов, для потворства немногим избранникам из своих близких знакомых и для указания обществу целей в меру случайных и мимолетных своих ощущений. Особенно восставал Белинский против мнений критика о важности *светского и светско-дамского элемента* в литературе, которые могли будто бы возвысить ее тон и благороднее устроить жизнь самих авторов. «Художественный и *светский*, – отвечал Белинский, – не суть слова однозначашие, так же как дворянин и благородный человек... Художественность доступна для людей всех сословий, всех состояний, если у них есть ум и чувство; свет-

скость есть принадлежность касты... Светскость еще сходится с образованностью, которая состоит в знании всего понемногу, но никогда не сойдется с наукою и творчеством» и т. д. Статья эта вообще была одна из тех, которыми обыкновенно порываются старые связи и союзы и отыскиваются новые. Для нас в ней особенно важны ее грустные заключительные строки: «Всего досаднее, что у нас не умеют еще отделять человека от его мысли, не могут поверить, чтоб можно было терять свое время, убивать здоровье и *наживать себе врагов* из привязанности к какому-нибудь задушевному мнению, из любви к какой-нибудь отвлеченной, а не житейской мысли. Но какая нужда до этого!» Он доканчивал мысль восклицанием: «Но если мысли и убеждения доступны вам, идите вперед и да не совратят вас с пути ни расчеты эгоизма, ни отношения личные и житейские, ни боязнь неприязни людской, ни обольщения их коварной дружбы, стремящейся взамен своих ничтожных даров лишить вас лучшего вашего сокровища – независимости мнения и чистой любви к истине!»

Или мы сильно ошибаемся, или в этом торжественном тоне ясно слышится глубокий, искренний вопль души накануне потери некоторых из ее симпатий и убеждений^[11]. Слова Белинского содержат еще и пророчество. Предчувствие не обмануло Белинского. Разрыв с журналистом и его партией не напрасно казался ему отважным делом: с той минуты и до нынешней включительно Белинскому составлена была в из-

вестных кругах репутация дикого ругателя всего почтенного и достойного на русской почве, и попытки удержать за ним эту репутацию в потомстве возобновляются еще от времени до времени и на наших глазах.

Одновременно с этой статьей, давшей сильный толчок к разрушению мирно процветавшей общины друзей науки и просвещения, было еще множество и других случаев, при которых Белинский открыто искал боя и врагов. Так, он не задумался назвать и «Современник» Пушкина, со второй его книжки, «петербургским «Московским наблюдателем по направлению, заметив в нем (справедливо или нет, — это другой вопрос) поползновение искать себе читателей и судей в одном, исключительно светском круге^[12]. Помним, что эта полемика с «Современником» произвела в то время почти столько же шума и негодования, как и заметка его, несколько прежде сделанная и из другого круга представлений. В статье «О повестях Гоголя» именно он проводил мысль, даже и не им первым высказанную, что все древние и новые эпические поэмы, выкроенные по образцу «Илиады», как то: «Энеида», «Освобожденный Иерусалим», «Потерянный рай», «Россиада» и проч., заменяя живые, неподдельные народные предания и представления другими, хитро придуманными на их манер, принадлежат к фальшивому роду произведений. Ужас всего старого педагогического мира нашего, видевшего в этой заметке образец непростительного невежества и ересь, превышающую воображение, был

невыразим. Так критик наш плодил вокруг себя врагов со всех сторон, число которых увеличивалось почти с каждой новой его заметкой о старых наших писателях, несходной с традиционным их пониманием. Корыстный представитель этих недовольных, Булгарин, говорил в «Северной пчеле», что при способе суждения, обнаруженном Белинским, ему нипочем доказать какое угодно положение, хоть следующее: *«Измена – дело не худое и даже похвальное»*, и по пунктам, имевшим тогда почти уголовный характер, упрекал критика, опираясь на его суждения о Державине, Карамзине, Жуковском и Батюшкове, в тех же чувствах, какие питают к России «завистливые иностранцы, ренегаты, безбородые юноши и проч.». Вот как поставлен был литературный спор с первого же раза и велся отчасти в этом смысле, конечно с меньшей наглостью, даже и людьми, нисколько не похожими на Булгарина с братией.

Теперь дело стало еще серьезнее, потому что Белинский совершил разрыв с тем кругом людей, которому принадлежал всецело, с теми немногими, мыслию которых дорожил, и удаление от которых грозило ему действительным одиночеством на свете^{13}.

Что же произошло между ними?

Оставляя в стороне житейские размолвки с друзьями, о которых имеем и особенно тогда имели очень смутное, неполное представление, обращаюсь к разноголосице их в области мысли. Когда Белинский напечатал в том же 1839

году в журнале г. Краевского, еще не будучи его признанным постоянным сотрудником, две свои статьи – рецензию на книгу Ф. Н. Глинки «Очерки Бородинского сражения» и библиографический отчет о «Бородинской годовщине» Жуковского, – ему казалось, что он выводил только логически правильные заключения из оснований Гегеля и непогрешительно прилагал их к живому факту, к действительности ^[14]. Надо сказать, что с первых же попыток Белинского к определению значения *действительности* в жизни народов и лиц он встретил уже противоречие у многих из своих друзей, которые не желали уступать свое право – быть настоящими и несменяемыми судьями всякой действительности. Но разгоревшийся спор этот вырос до разрыва связей только в 1839 году. Летом этого года, как известно, Москва, а с ней и Россия праздновали великое патриотическое торжество – открытие памятника на Бородинском поле. Одушевление было общее и понятное. Летом 1839 года я случайно находился в Москве и смотрел из окна одного родственного мне дома против Кремля на великолепный крестный ход, огибавший кремлевские стены, в замке которого шел митрополит Филарет, сопровождаемый самим императором Николаем Павловичем верхом. Это было кануном, так сказать, торжественного открытия бородинского памятника в августе того же года. Горячих толков и патриотического одушевления и теперь уже возникало много, но я, тогда еще не знакомый ни с одной из личностей описываемого круга, не мог и предчувствовать,

как сильно будут меня занимать впоследствии отголоски этого события. Белинский вздумал воспользоваться открытием бородинского памятника, чтобы подтвердить им мудрость гегелевского афоризма о тождестве действительности с истиной и разумностью и разобрать всю плодотворную сущность этого положения. Но с первой же статьи оказалось, что излишнее обобщение правила может повести к необычным выводам, к резким, чудовищным заблуждениям. Напрасно друзья Белинского представляли ему все опасности прямого, непосредственного приложения его идеи к русскому миру – Белинский, никогда не знавший сделок, уступок, добровольных умолчаний, еще более укреплялся их сомнениями. Надо было или бросить всю теорию, или оставаться ей верным до конца. Ему показалось даже, что наступила именно та минута, о которой он говорил прежде, когда для спасения своей мысли и совести следует решиться на откровенный разрыв с самыми близкими людьми. Покойный Герцен рассказывает в своих известных записках, что перед отъездом Белинского из Москвы произошел между ними спор, за которым последовало охлаждение между друзьями, длившееся, впрочем, недолго, всего год, и кончившееся полным примирением их, так как первая причина ссоры – слепое прославление действительности – признано было самим его исповедником, Белинским, философской и жизненной ошибкой. Описание спора у Герцена очень любопытно: оно показывает первые бури, возникшие у нас от столкновения систем и отвлечен-

ностей с явлениями реального характера. Герцен добавлял еще свое описание изустно следующей подробностью. Когда через год после первого столкновения с Белинским Герцен явился в Петербург, он уже застал там Белинского и, разумеется, возобновил с ним распрю по поводу нового учения. И тогда-то, рассказывал Герцен, в жару спора со мной Белинский прибег к аргументу, прозвучавшему необычайно дико в его устах. «Пора нам, братец, – сказал критик, – помирить наш бедный заносчивый умишко и признаться, что он всегда окажется дрянью перед событиями, где действуют народы с своими руководителями и воплощенная в них история» ^[15]. По сознанию Герцена, он пришел к ужас от этих слов, тотчас же замолчал и удалился. Ему показалось, что тут совершилось какое-то отречение от прав собственного разума, какое-то непонятное и чудовищное самоубийство. Через два года, по возвращении из второго своего удаления, в Новгород, снова в Петербург (1841 год), Герцен уже не имел никаких поводов препираться с критиком: они были одинакового мнения по всем вопросам ^[16].

Белинский явился, таким образом, в чуждый ему город с глубокой раной в сердце; но он все еще надеялся переиначить взгляды друзей на свои теории, высказав всю свою мысль по поводу спорного пункта, их разделявшего. В начале 1840 года он явился со статьей «Менцель, критик Гете» в «Отечественных записках». Здесь, подавляя всей силой своего презрения мелкие умы, кропотливо разбирающие, что

им нравится и что не нравится в исторических явлениях, Белинский создает особые права, преимущества, даже особую нравственность для великих художников, великих законодателей, гениальных людей вообще, которые уполномочиваются изобретать особые дороги для себя и вести по ним современников и человечество, не обращая внимания на их протесты, волнения, симпатии и антипатии. Более полной подчиненности в пользу привилегированных избранников судьбы нельзя было проповедовать ^{17}. Надо признаться, статья была живо и мастерски написана, содержала много верных замечаний, сделавшихся теперь уже общим достоянием, как, например, замечание о меткости и исторической важности непосредственного чувства в народных массах, о родственной связи, существующей всегда между стремлениями великих умов и инстинктами общества и проч.; но все это не ослабляло ее основного софистического характера, отстранявшего вполне критические отношения к общественным вопросам. Все это продолжалось недолго. К осени того же 1840 года Белинский уже вышел из чада направления, грозившего остановить всю его деятельность с самого начала.

У нас уже много было писано об этой эпохе развития Белинского и с различными целями. Предмет, однако же, не вполне уяснен, потому, может быть, именно, что слишком много занимал исследователей и раздут ими до размеров важного психического явления, чему способствовал и сам Белинский своими последующими объяснениями. В сущно-

сти, это был просто безграничный *оптимизм*, которым разрешалась Гегелева система часто и не на одной только русской почве; она уже и в других странах, как в Пруссии, производила те же результаты, по присущему ей двоемыслию. Стоило только понять ее определение государства как конкретного явления, в котором отдельная личность должна найти полное успокоение и разрешение всех своих стремлений, — стоило только, говорим, понять это определение в одном известном, официальном смысле, чтобы прийти к обоготворению всякого существующего порядка дел. Первым руководителем Белинского, однако же, на этом поприще самообольщения был в то время не кто иной, как нынешний⁹ отрицатель всех доселе известных форм правления, враг сложившихся окончательно государств, обособившихся национальностей, их общественных преданий и верований — М. Бакунин. Первая ошибка в диалектической выкладке, о которой говорим и которая имела такие последствия для Белинского, принадлежит ему^{18}.

⁹ Умерший во время составления этих заметок. (Прим. П.В. Анненкова.)

IV

Есть причины полагать, что годы 1836–1837 были тяжелыми годами в жизни Белинского. Мне довольно часто случалось слышать от него потом намеки о горечи этих годов его молодости, в которые он переживал свои сердечные страдания и привязанности, но подробностей о тогдашней своей жизни он никогда не выдавал, как бы стыдясь своих ран и ощущений. Только однажды он заметил, что ему случалось, как нервному ребенку, проплакивать по целым ночам воображаемое горе. Можно было полагать только, что горе это было не совсем воображаемое, как он говорил. Замечательно, что эти оба года, исполненные для него жгучих волнений и потрясений, были употреблены им вместе с тем еще и на занятие философией Гегеля, которая нашла особенно красноречивого проповедника в лице одного молодого отставного артиллерийского офицера, выучившегося скоро и хорошо по-немецки и вообще обладавшего способностью к быстрому усвоению языков и отвлеченных понятий. Это был М. Бакунин. В 1835 году он не знал, что делать с собой, и наткнулся на Н. В. Станкевича, который, угадав его способности, засадил за немецкую философию. Работа пошла быстро. Бакунин обнаружил в высшей степени диалектическую способность, которая так необходима для сообщения жизненного вида отвлеченным логическим формулам и для получения

из них выводов, приложимых к жизни. К нему обращались за разрешением всякого темного или трудного места в системе учителя, и Белинский гораздо позднее, то есть спустя уже 10 лет (в 1846 году), еще говорил мне, что не встречал человека, более Бакунина умевшего отстранять, так или иначе, всякое сомнение в непреложности и благолепии всех положений системы. Действительно, никто из приходящих к Бакунину не оставался без удовлетворения, иногда согласного с основными темами учения, а иногда просто фиктивного, выдуманного и импровизированного самим комментатором, так как диалектическая его способность, как это часто бывает с диалектиками вообще, не стеснялась в выборе средств для достижения своих целей.

Как бы то ни было, но только упоение гегелевскою философией с 1836 года было безмерное у молодого кружка, собравшегося в Москве во имя великого германского учителя, который путем логического шествия от одних антиномий к другим разрешал всей тайны мироздания, происхождение и историю всех явлений в жизни, вместе со всеми феноменами человеческого духа и сознания. Человек, не знакомый с Гегелем, считался кружком почти что несуществующим человеком: отсюда и отчаянные усилия многих, бедных умственными средствами, попасть в люди ценою убийственной головоломной работы, лишавшей их последних признаков естественного, простого, непосредственного чувства и понимания предметов. Кружок постоянно сопровождался таки-

ми людьми. Белинский очень скоро сделался в нем корифеем, выслушав основные положения логики и эстетики Гегеля, преимущественно в изложении и комментариях Бакунина. Надо заметить, что последний возвещал их как всемирное откровение, сделанное человечеством на днях, как обязательный закон для мысли людской, которую они исчерпывают вполне без остатка и без возможности какой-либо поправки, дополнения или изменения. Следовало или покориться им безусловно, или стать к ним спиной, отказываясь от света и разума. Белинский на первых порах и покорился им безусловно, стараясь достичь идеала бесстрастного существования в «духе», подавляя в себе все волнения и стремления своей нравственности и органической природы, беспрестанно падая и приходя в отчаяние от невозможности устроить себе вполне просветленную жизнь, по указаниям учителя.

Дело, конечно, не обходилось тут без сильных протестов со стороны неопита. Дар проникать в сущность философских тезисов, даже по одному намеку на них, и потом открывать в них такие стороны, какие не приходили на ум и специалистам дела, – этот дар поражал в Белинском многих из его философствующих друзей. Он не утерял его и тогда, когда, по-видимому, предался душой и телом одному известному толкованию гегелевской системы. Способность его становиться по временам к ней совершенно оригинальным и независимым способом и заставила сказать Герцена,

что во всю свою жизнь ему случилось встретить только двух лиц, хорошо понимавших Гегелево учение, и оба эти лица не знали ни слова по-немецки. Одним из них был француз – Прудон, а другим русский – Белинский^{19}. Возражения последнего на некоторые из догматов системы иногда удивительно освещали ее слабые, схоластические стороны, но уже не могли потрясти *веры* в нее и высвободить его самого из-под ее гнета. Известно восклицание Белинского, весьма характеристическое, которым он заявлял свое мнение, что для человека весьма позорно служить только орудием «всемирной идеи», достигающей через него необходимого для нее самоопределения. Восклицание это можно перевести так: «Я не хочу служить только ареной для прогулок «абсолютной идеи» по мне и по вселенной»^{20}. Опровержения такого рода, как бы мимолетны они ни были, конечно не могли не раздражать его друга, Бакунина, не лишнего, как все проповедники, деспотической черты в характере. Впоследствии образовались сильные размолвки, именно вследствие протестов Белинского, на которые учитель отвечал, с своей стороны, весьма энергично. Уже в сороковых годах, говоря мне об искусстве, с каким Бакунин умел бросать тень на лица, которых заподозревал в бунте против себя, Белинский прибавил: «Он и до меня добирался. «Взгляните на этого Кассия, – твердил он моим приятелям, – никто не слышал от него никогда никакой песни, он не запомнил ни одного мотива, не проронил сроду и случайно никакой ноты. В нем

нет внутренней музыки, гармонических сочетаний мысли и души, потребности выразить мягкую, женственную часть человеческой природы». Вот какими закоулками добирался он до моей души, чтобы тихомолком украсть ее и унести под своей полрой». Оба приятеля, как известно, вплоть до 1840 года беспрестанно ссорились и так же беспрестанно мирились друг с другом, но в лето 1836 года они еще жили безоблачной, задушевной жизнью.

Связь между друзьями должна была еще усилиться, когда в течение 1836 года Белинский, введенный в семейство Бакуниных, нашел там, как говорили его знакомые, необычайный привет даже со стороны женского молодого его населения, к чему он никогда не относился равнодушно, убежденный, что ни одно женское существо не может питать участия к его мало эффектной наружности и неловким приемам. Белинский ездил в Тверь и жил некоторое время в поместье самих Бакуниных^[21]. Беседы, которые он вел под кровом их дома, под обаянием дружбы с одним из его членов, при внимании и участии молодого и развитого женского его персонала, конечно, должны были крепче запасть в его ум, чем при какой-либо другой обстановке. Результаты оказались скоро. Когда Белинский опять возвратился к журнальной деятельности и принял на себя, в 1838, издание «Московского наблюдателя», совершенно загубленного прежней редакцией, – на страницах журнала уже излагались не Шеллинговы воззрения в том лирическо-торжественном тоне, какой они

всегда принимали у Белинского, а строгие гегелевские схемы в надлежащей суровости языка и выражения и часто с некоторою священной темнотою, хотя и старые воззрения и новые схемы имели много родственного между собою. К тому же одним из сотрудников журнала, от которого ждали переворота в области литературы и мышления, состоял теперь М. Бакунин. Он именно и открыл новый фазис философизма на русской почве, провозгласив учение о святости всего *действительно* существующего.

Одно, хотя и очень короткое время, Бакунин, можно сказать, господствовал над кружком философствующих. Он сообщил ему свое настроение, которое иначе и определить нельзя, как назвав его результатом *сластолюбивых* упражнений в философии. Все дело ограничивалось еще для Бакунина в то *время умственным наслаждением*, а так как самая многосторонность, быстрота и гибкость этого ума требовали уже постоянно нового питания и возбуждения, то обширное, безбрежное море гегелевской философии пришлось тут как нельзя более кстати. На нем и разыгрались все силы и способности Бакунина, страсть к витийству, врожденная изворотливость мысли, ищущей и находящей беспрестанно случаи к торжествам и победам, и наконец пышная, всегда как-то праздничная по своей форме, шумная, хотя и несколько холодная, малообразная и искусственная речь. Однако же эта праздничная речь и составляла именно силу Бакунина, подчинявшую ему сверстников: свет и блеск ее увлекали и

тех, которые были равнодушны к самым идеям, ею возмещаемым. Бакунина слушали с упоением не только тогда, когда он излагал сущность философских тезисов, но и тогда, когда спокойно и степенно поучал о необходимости для человека ошибок, падений, глубоких несчастий и сильных страданий как неизбежных условий истинно-человеческого существования.

Бакунин сам рассказывал впоследствии, что однажды, после вечера, посвященного этой материи, собеседники его, большей частью молодые люди, разошлись спать. Один из них поместился в той же комнате, где опочивал и сам учитель. Ночью последний был разбужен своим молодым товарищем, который, со свечою в руках и со всеми признаками отчаяния на лице, требовал у него помощи: «Научи, что мне делать, — говорил он, — я — погибшее существо, потому что как ни думал, не чувствую в себе никакой способности к страданию». Действительно, полюбить страдание, и особенно в юношеские годы, трудновато.

Естественно, однако ж, что такое продолжительное умственное, диалектическое, философское пирование могло быть устроено только при одном условии: совершенного обеспечения себя от протестов со стороны людей огорченных или негодующих на жизнь, при условии осмыслить, если не узаконить все то, на что они жалуются или в чем сомневаются. Необходимо было прежде всего убедить всех, которые сильно чувствовали *злобу дня*, в том, что их лич-

ные, отдельные попытки осуждения современности или основ, на которых она держится, суть преступления против существующей «действительности», то есть преступление против «всемирной идеи», которая в данную минуту в нее воплотилась, другими словами, против самого «высшего разума». Спокойствие и нужное расположение духа для философирования покупались только этой ценою. И ничем другим Бакунин в эту эпоху не занимался, кроме прямых и косвенных внушений этого рода. Ему принадлежит ввод в печать нового русского презрительного слова «прекраснодушие», возбудившего такое недоумение в публике и журналах своим, действительно, не очень складным составом, которое, будучи буквальным переводом немецкого «Schonseligkeit», призвано было обозначать у нас благородные, но несостоятельные отрицания личного мышления и личного суда над современностью. Ему принадлежит распространение у нас того крайнего, чистейшего и вместе брезгливого идеализма, который с ужасом отворачивался от всякого житейского шума, смешивая под одним общим названием *низиших явлений субъективного духа* все, что мешало ему, идеализму, заниматься спокойно вопросами о судьбах и призвании человечества: он просмотрел французский переворот 1830 года, ничего не распознал в общественном движении, наступавшем за ним во Франции (Ж. Занд, Сен-Симон, Ламэнэ), ничего не видал в современной ему юной Германии, уже основавшей свой орган в 1838 году: «Deutsche Jahrbucher»^[22].

Он только заклеил эти явления названием необузданных шалостей *рассудочного*, но не философского ума. Сам Шиллер объявлялся еще у этого идеализма, за молодые свои протесты, за свою жажду справедливости, правды, гуманности – гениальным ребенком, который никогда не мог возвыситься от теплых, хороших ощущений до спокойного созерцания идей и мировых законов, управляющих людьми, до объективного понимания предметов. Отец русского идеализма, Бакунин вместе с тем был весьма податлив и на житейские наслаждения, которыми пользовался совершенно беспечно и за которыми гнался как-то наивно, простодушно. Жизнь и философия тут не мешали Друг другу. Впрочем, следует еще раз повторить, что нигде, может быть, философский романтизм не воплощался в таком сильном, по средствам и дарованиям, представителе, каким был Бакунин. Прикрытый математически-строгими формулами Гегелевой логики, романтизм этот казался по наружности очень суровой проповедью, будучи, в сущности, только потворством и оправданием для самых утонченных прихотей мысли, наслаждающейся собой.

Для Белинского, однако же, это было другое дело: философские занятия далеко не служили ему потехой и развлечением, а, наоборот – горьким и тяжелым искусом, который он проходил с трудом и самоотвержением, надеясь обрести истину, покой для мысли и совести на конце его. Надо было привыкать к строю мыслей, открываемых новым созерцани-

ем, и беспощадно убивать в себе всякое сомнение в нем, всякий позыв к противоречию. Философский оптимизм требовал очень многого. Путем отвлеченностей и метафизических выкладок он превращал в научные аксиомы, в философские истины и в откровения «духа» ходячие общественные начала, за малыми исключениями, почти всю современную жизненную обстановку и большую часть всех умственных и других отправлений, навеваемых и вызываемых текущей минутой.

В этом благоприятном разъяснении текущей минуты именно и заключалось преимущественно то обаяние, которое производил на всех тогдашний глубоко консервативный, религиозный, даже с мистическим оттенком, семейно-добродетельный, нравственный, *музыкальный* Бакунин, – такой, каким его знали до 1840 года, когда он уехал за границу из России.

С тех пор он ушел далеко; но потребность созидания систем и воззрений, обманывающих духовные потребности человека, вместо удовлетворения их, – осталась все та же, и тот же романтизм, ищущий необычайных выводов и потрясающих эффектов, слышится и в его призывах к разрушению обществ и к истреблению цивилизации, как прежде слышался в воззваниях к высшему героическому пониманию и осуществлению нравственности и человеческого достоинства.

Уже и тогда многие, как покойный В. П. Боткин, например, и сам Белинский, по временам понимали хорошо ис-

точники проповеди Бакунина. Описывая мне его личность в 1840 году, тогда мне еще совершенно незнакомую, Белинский говорил: «Это пророк и громовержец, но с румянцем на щеках и без пыла в организме»^[23]. Таково было последнее впечатление, вынесенное им из долгих сношений с учителем. Но в общественном значении никто не отказывал философии Бакунина, потому что она действительно составляла прогресс в умственном развитии нашего общества и служила прогрессу. Способ понимания целей и задач жизни, ею усвоенный, заключал в себе много фантастического элемента, но, конечно, стоял неизмеримо выше того грубого способа их представления, который царствовал у большинства современников. Смысл, который система Бакунина отыскивала не только в политических, но даже в будничных эфемерных явлениях текущего дня, действительно был произвольный и навязанный им насильно, но все-таки это был смысл, для усвоения которого следовало еще многому поучиться и о многом подумать. Положения проповеди Бакунина слишком многое узаконяли в существующих порядках – это правда, но они узаконяли их так, что порядки эти переставали походить на самих себя. Они становились идеалами в сравнении с тем, чем были на реальной почве. Нравственные требования от всякой отдельной личности носили у него характер безграничной строгости: вызов на героические подвиги составлял постоянную и любимую тему всех бесед Бакунина. Гегелевское определение личности как поприща, на ко-

тором совершается таинство самоопределения и окончательного разоблачения «творящей идеи», уполномочивало уже требовать от каждого человека самых напряженных усилий на пути развития своего сознания и нравственных доблестей. Бакунин и требовал этих усилий с вдохновением и настойчивостью, которые вошли уже у него в организм и привычку. Так, даже накануне французского переворота 1848 года в Париже, когда он сам перешел на чисто политическую арену и, сильно окрашенный польской пропагандой, приступил к подговорам, тайным махинациям и клубным мерам в известном роде, — он готов был всегда призывать людей к чистым подвигам, целомудренной жизни и идеальному пониманию ее задач. Это и заставило Герцена прозвать его тогда же (1847 год) в шутку «старой Жанной д'Арк». Герцен прибавлял, что это и девственница, но только антиорлеанская, так как питает отвращение к королю Луи-Филиппу — орлеанскому.

Человек, предшествовавший Бакунину в изучении Гегеля и даже впервые, как мы сказали, посвятивший самого Бакунина в науку, Н. В. Станкевич, никогда не доходил до полного, абсолютного оптимизма в философии. Станкевич уже и потому не мог соперничать в этом с товарищем, что, выходя с ним из одних оснований и не менее его отданный во власть романтического настроения, неспособен был, однако же, по разборчивости ума, изяществу и поэтичности природы, к грубым обобщениям. По причинам просто и чисто фи-

зиологическим, он останавливался в недоумении перед каждой скрытой и явной несправедливостью, так же точно, как и перед всяким чрезмерным увлечением. У него была поверка излишне заносчивых тезисов в чувстве меры, да к тому же он снабжен был и даром юмора, который открывал ему обратную, теневую сторону предметов. Этого дара вовсе не доставало Бакунину. Должно считать счастливым обстоятельством для Бакунина то, что в эпоху его самой жаркой проповеди Станкевич (с осени 1837 года) и Грановский (за год до того) были за границей, а Герцен проходил первое свое удаление, сперва в Вятку, а потом во Владимир; случись они тогда в Москве, законодательная деятельность Бакунина и его декреты по предметам мышления получили бы значительное ограничение и изменение.

Остается теперь посмотреть, как все эти свойства и качества философской системы Бакунина отразились тогда на душе Белинского.

V

На первых порах влияние новой философской системы Бакунина не было выгодно для таланта Белинского. Белинский прежде всего приступил тогда в изучению схем, формул, делений – всех почти неосязаемых теней колоссального мира абстракции, называемого логикой Гегеля, и приступил с пылом и фанатическим одушевлением, лежавшими в его природе. Сделав обет ученического послушания системе, он уже не изменил своему обету до конца. Он наложил опеку на свой подвижной ум, на свое тревожное сердце, создал план, программу, почти табличку поведения для своей жизни и для своей мысли, и употреблял невероятные усилия, чтобы отогнать от себя все наваждения врожденного ему таланта, критической и эстетической способности. Во все это время Белинского не покидало сомнение даже в праве отдаваться впечатлениям внешней жизни, своему чувству, своим сердечным влечениям. Он страдал в мысли так же, как и в способе относиться ко всему реальному в его собственном существовании. Это было уже далеко не наслаждение философией, как в период Шеллингова влияния, – это был тяжелый труд, каторжная работа, принятая на себя из надежды близкого воскрешения в будущем и потом уже радостного существования на земле, без сомнений, колебаний и томительных вопросов. Мучительный искуc, добровольно прохо-

димый одним из характеров, наименее способных к подчиненности, не кончился и тогда, когда Белинский ознакомился с учением *о действительности*, хотя оно, по-видимому, должно было бы освободить его от напрасных исканий идеально-совершенных правил и основ жизни. По крайней мере в литературе следы того же послушнического искуса сохраняются и в статьях его от 1838 года. Слово его, такое бодрое и развязное дотоле, становится в «Московском наблюдателе» 1838 года неопределенным, туманным, словно чахнет, занятое преимущественно выяснением философских терминов (особенно термин «конкретность» стоил ему долгих трудов и беспрестанных повторений одного и того же понятия на разное лады), переложением их на русский язык и толкованием их смысла для русской публики^{24}. По временам это бедное, уже обезличенное слово старается еще придать себе вид развязности, скрыть схоластические путы, мешающие его движению, казаться свободным, смелым словом, несмотря на ту цепь, которую дозволило наложить на себя. Это были вспышки, соответствовавшие тем мимолетным протестам против теории, о которых говорено. Вообще же журнал «Московский наблюдатель», орган Белинского с 1838 года, представлял в течение нескольких месяцев печальную арену, где можно было видеть замечательного и своеобразного мыслителя в униженном положении страдальца, изнывающего и слабеющего под действием жестокой умственной дисциплины, лишавшей его сил, но которую он продолжает упорно

налагать на себя, не признавая ее за наказание. Журнал истомил редактора и всех тех, которые за ним тогда следили. Многие из друзей редактора были также очень недовольны им и не скрывали своего мнения^{25}. Позволю себе при этом сказать несколько слов о собственных моих тогдашних впечатлениях по этому поводу.

VI

Известно, что «Московский наблюдатель» 1838 года открывался передовой статьей Рётшера «О философской критике художественного произведения» ^{26}. О ней много было говорено и тогда и потом в нашей литературе, и все-таки мне приходится остановиться на ней и теперь. Статья принадлежала к числу тех чрезвычайно сухих и отвлеченных трактатов, где понятия под наторелой рукой писателя складываются сами собой в затейливые узоры, оставляя в стороне как вздорную помеху все соображения о насущных потребностях известного общества, об условиях или нуждах его существования в данную минуту. Статья определяла будущее направление журнала. Она делила критику на четыре разряда, строго отмежеванные, отдавая, разумеется, предпочтение первому – философскому отделу как заключающему в себе единственные истинные и непреложные законы для суда над произведениями. А непреложность этих законов доказывалась процессом исследования, свойственным философской критике, которая, распознав мысль художественного произведения, выделяет эту мысль из создания, развивает ее самостоятельно, по-философски, допытывается всех возможных ее выводов, и потом возвращает эту мысль снова созданию, наблюдая, все ли то сказано в образах и подробностях созда-

ния, что обнаружилось в философском анализе его. Если да — да; если нет — тем хуже для создания!

Три низшие отдела критики, то есть критика психологическая, скептическая и историческая, конечно не пользовались симпатиями Белинского. Не говорим уже о скептической, давно им презираемой, но и психологическая и историческая критики как не имеющие руководителя в *абсолютных, законах*, мысли и искусства ценились им весьма мало. Чрезвычайно любопытно выслушать при этом, что он говорил по поводу последней из них: «Подробности жизни поэта несколько не поясняют его творений. Законы творчества вечны, как законы разума. На что нам знать, в каких отношениях Эсхил или Софокл были к своему правительству, к своим гражданам и что при них делалось в Греции? Чтобы понимать их трагедии, нам нужно знать значение греческого народа в абсолютной жизни человечества... До политических событий и мелочей нам нет дела» и проч. ^[27].

Белинский тут просто не походил на самого себя. Между тем, в статье Рётшера, пред теми рубриками критики ставились бедные явления нашей печати и письменности, вымеривался их рост и, на основании полученных четвертей и вершков, им отводилось помещение в одном из отделов. Так поступил Белинский с сочинениями Фонвизина, которые отнес к ведомству критики исторической, вместе с изумительным товарищем — сочинениями Вольтера, а «Юрия Милославского» подчинил ведению критики психологиче-

ской, придав ему тоже необыкновенного спутника и сотоварища, именно Шиллера, «этого странного полухудожника и полуфилософа», замечал Белинский. Но не достало даже таланта и опытности Белинского, чтобы к названным русским авторам приложить все требования критического отдела, которому они делались подсудны, и найти в них все те черты, которые по теории должны были в них существовать непременно. Он обещал представить это свидетельство совпадения теории с живым примером, но не исполнил обещания – и по весьма понятной причине. При осуществлении задачи либо теория должна была лопнуть по всем составам, либо примеры отбиться совсем от теории.

Зато Белинский исполнил другое. Чем более отрекался он от права личного суждения, тем более завладевали его умом мертвые философские схемы и тезисы, которые не только заслоняли перед его глазами предметы искусства, но назойливо и нагло становились на их место. Когда актер Мочалов создал роль Гамлета в Москве, Белинский написал большую статью о трагедии и о московском исполнителе главной ее роли. Как же представился Гамлет воображению Белинского? Конечно, так же, как и Гете, – человеком, страдающим бедностью воли ввиду огромного замысла, на который он себя предназначает. Но откуда эта немощь воли и сопряженные с нею страдания в лице, умеющем при случае поступать очень смело и решительно? – спрашивал себя Белинский. Ответ давался схемой. Гамлет, по ее определению, выража-

ет собою все признаки того психического состояния, когда человек, мирно живший с собою и про себя, переходит к существованию в «действительности», во внешнем мире, таком запутанном и бессмысленном на первый взгляд. Борьба и страдания, неразлучные с этим погружением в хаос и в кажущуюся грубость реального мира, отнимают у Гамлета всю силу воли, всю твердость характера. Качества эти возвращаются к нему, когда Гамлет, после долгого, мучительного искуса, приходит к чувству покорности перед законами, управляющими этим непонятным, грозным миром действительности, к тихому убеждению, что надо быть *всегда готовым на все*. Таким образом, Гамлет преобразился в представителя любимого философского понятия, в олицетворение известной формулы (что действительно, то – разумно), и Белинский на этом пьедестале устраивает апофеозу как великому творцу драмы, так и замечательному его толкователю на московской сцене^{28}.

Постоянные превращения живых образов в отвлечения начинают появляться все более и более у Белинского. При обозрении журналов 1839 года Белинский делает заметку о статье Губера «Фауст». Что такое Фауст Гете? Для Белинского той эпохи Фауст есть точно такая же философская схема, как и Гамлет, даже почти ничем не отличающаяся от нее. Фауст как человек глубокий и всеобъемлющий должен был выйти из естественной гармонии духа, поссориться с действительностью, к которой обратился за утешением и позна-

нием, и после ряда кровавых испытаний, мучительной борьбы, падений и обольщений возвратиться снова к полной гармонии духа, но уже гармонии, просветленной опытом и сознанием. Он прозрел под конец разум и оправдание всего сущего. Фауст умирает в блаженстве и от блаженства такого сознания.

Как ни тяжело было, по-видимому, приложить этот способ определения предметов искусства к чему-либо, выросшему на русской почве, Белинский, однако же, не остановился перед трудностью. Я сказал, что при появлении в «Современнике» 1838 года посмертных сочинений Пушкина Белинский испытал более чем восторг: даже нечто вроде *испуга* перед величием творчества, открывшегося глазам его. В литературной хронике «Московского наблюдателя» 1838 года, отдавая отчет о четырех томах «Современника», заключавших неизданные произведения великого поэта, Белинский спрашивал себя: что такое Пушкин? Оказалось, что та же схема, которая служила мерилom внутреннего достоинства Гамлета и Фауста, пригодна и для определения последних произведений Пушкина. Вот собственные слова Белинского: «В самом деле, – говорит он, – чтобы постигнуть всю глубину этих гениальных картин, разгадать их вполне *таинственный* смысл и войти во всю полноту и светозарность их могучей жизни, должно пройти чрез мучительный опыт внутренней жизни и выйти из борьбы прекраснодушия в гармонию просветленного и примиренного с действитель-

ностью духа. Повторяем, примирение путем объективного созерцания жизни – вот характер этих последних произведений Пушкина»^[29].

Было бы очень странно, если бы этот философский тезис, так могущественно и деспотически овладевший умом Белинского, остался без приложения к предметам политического и общественного характера или заменился там каким-либо иным, несхожим с ним, созерцанием. Непоследовательность такого различия в определениях была бы очевидным опровержением самых оснований теории, а Белинский был всегда последователен и в истине, и в минутных заблуждениях своих. Таким образом, являлась у Белинского и политическая теория, в силу которой человек, для того чтобы устроить правильные отношения к обществу и государству, должен разрешить в себе ту же задачу, какую разрешали Гамлет и Фауст своими персонами, а Пушкин – своими произведениями. Разница состояла здесь в том только, что на политической и социальной почве уже не предстояло возможности выбирать явлений, предпочитать одни другим, производить им оценку и сортировку, а необходимо было уважать и признавать их всех одинаково и целиком. Белинский поэтому требовал, «чтобы человек, не желающий довольствоваться всю жизнь призрачным существованием, вместо действительного человеческого существования, признал ложью и обманом умственные похоти своей личности, подчинился требованиям и указаниям государства, которое

есть единственный критериум истины на земле, проникнул в глубокий смысл его идеи, превратил все могучее его содержание в собственные убеждения свои, и тем самым сделался уже представителем не случайных и частных мнений, а выражением общей, народной, наконец мировой жизни или, другими словами, стал *духом во плоти*». Белинский продолжал далее: «В духовном развитии человека момент отрицания необходим, потому что кто никогда не ссорился с жизнью, у того и мир с нею не очень прочен; но это отрицание должно быть именно только моментом, а не целою жизнью: ссора не может быть целью самой себе, но имеет целью примирение. Горе тем, которые ссорятся с обществом, чтобы никогда не примириться с ним: общество есть высшая действительность, а действительность требует или полного мира с собою, полного признания себя со стороны человека, или сокрушает его под свинцовою тяжестью своей исполинской длани» ^{30}.

Место это находится в разборе книги «Очерки Бородинского сражения» Ф. Н. Глинки, которая ознаменовала, как знаем, полный расцвет гегелевского оптимизма в русской литературе.

Такова вкратце у Белинского история зарождения и развития гегелевского оптимизма, которая, так сказать, прошла у нас перед глазами.

VII

Нельзя покончить, однако же, с этим периодом деятельности критика, не повторив еще раз того, что было сказано о его частых восстаниях против своих же догматов: в противность всему строю и всем заключениям признанного и усвоенного им учения из-под пера Белинского беспрестанно вырывались положения, похожие на ереси. Этими еретическими вспышками, смахивавшими на бунт против начал, угнетавших его ум, высказывались те, на время подавленные и притаившиеся, критические силы Белинского, которые ждали окончания философского погрома, чтоб явиться снова на свет в полном блеске. Не удивительно ли было, например, в самом пылу гегелевского настроения, когда так процветало благоговение к «идее» и неутомимое искание ее, – вычитать у Белинского следующие строки в его разборе плохой драмы Полевого «Уголино»: «В творчестве сила не в идее, а в форме, которая, само собою разумеется, необходимо предполагает и условливает идею, и эта форма должна быть проникнута кротким, благоговейным сиянием эстетической красоты. Величие содержания (идеи) не только не есть ручательство эстетической красоты, но еще часто оподозревает ее...» Помню хорошо недоумение, которое возбуждали в нас подобные внезапные повороты (а их было немало), наносившие более или менее чувствительные удары самим основам

и первым началам найденной философской системы. Помню также, что многие из нас и обращались к автору в подобных случаях за разъяснениями этих противоречий; но разъяснения Белинского большей частью обнаруживали досаду на людей, подвергавших его экзамену, и давались, как даются ответы детям на их расспросы. «Неужто вы думаете, – говорил Белинский, – что я должен при каждом мнении справляться с тем, что сказал когда-то прежде? Да вот теперь я вас ненавижу, а через день буду страстно любить». Много было истины в этих словах. Белинский особенно боялся тогда противоречий, потрясающих новую его систему, и отсылался гневно и нервно о людях, их высказывавших; но оказывалось, что он больше всего и думал именно о таких людях. В связи с этой чертой находилась и другая, не менее любопытная. Он негодовал, становился угрюм и зол, именно когда встречал непререкаемое согласие с его положениями, хотя это и не часто случалось, точно ему не доставало тогда возражений и обличений.

Внутренняя жизнь Белинского в эту эпоху представляла раздвоение поистине трагическое и исполнена была страданий и сомнений, которые по временам он и открывал собеседникам в резком, неожиданном слове, можно сказать – в вопле истерзанной души. Он судорожно и отчаянно держался за новые свои верования, но с каждым днем все более и более чувствовал, что они меняются, тускнут и испаряются на его собственных глазах.

Но в этот же период времени случалось и так, что Белинский боролся с гнетущими условиями метафизического депотизма не одними вспышками и порывистыми движениями врожденной ему критической мысли, а и целыми продуманными суждениями и приговорами, которые шли наперекор теории и всем ее толкователям.

И как гордился сам Белинский этими доказательствами и заявлениями самодеятельности своего ума! В письме к И. И. Панаеву 19 августа 1839 года, напечатанном в «Современнике» 1860 года, в январе месяце, он шутливо, но с чувством нескрываемого торжества вспоминает, что еще осенью прошлого года объявил вторую часть «Фауста» Гете сухой, мертвой символистикой, к великому негодованию и изумлению всех московских друзей-философов. Они не находили почти слов для выражения своего гнева и презрения к смельчаку, налагавшему руку на своего рода «философский апокалипсис», а теперь опустили головы, прочитав в «Deutsche Jahrbücher» статью молодого эстетика Фишера (Fischer), говорит Белинский, который буквально повторил все то, что возвещал он, непризнанный Белинский, за год перед тем^[31].

И было чем гордиться!

Что касается до нас, то мы жаждали ересей Белинского, противоречий Белинского, измен его своим положениям и нарушений философских догматов, как подарков: они, казалось, возвращали нам старого Белинского 1834–1835 годов, когда он имел, несмотря на Шеллинга, свою независи-

мую мысль и свое направление¹⁰. Не то чтобы кружок его петербургских сторонников ясно прозревал несостоятельность системы и выводов, из нее получаемых, – Для этого он не был достаточно развит философски, – но он чувствовал беспокойство, следуя за развитием учителя, сильно недоумевал, когда ему – кружку этому – не позволяли ропота даже и на самые обыденные явления жизни, и беспрестанно обращал глаза назад, к прежнему Белинскому 1835 года, издателью шести книжек «Телескопа», где помещены статьи и разборы, оставшиеся и доселе памятниками чуткой критики, приговоры которой пережили поколения, впервые их выслушавшие. Может быть, это подозрительное состояние кружка, всегда готового сорваться с тезисов на практическую дорогу прямой, наглядной оценки предметов, без всяких справок о том, что они представляют в идее, и было причиной грустного, осторожного, сдержанного обращения Белинского с кружком. Он не доверял ни его покорности отвлеченным понятиям, ни особенно его способности проникнуться ими в должной степени, и однажды, когда заговорили перед ним о здоровом практическом смысле Петербурга, поправляющем

¹⁰ В «Телескопе» 1835 года помещены были образцовые статьи: «О русской повести и повестях Гоголя», «О стихотворениях Баратынского», «Стихотворения Владимира Бенедиктова» и «Стихотворения Кольцова». Надеждин, поручивший издание «Телескопа» Белинскому при своем отъезде за границу, был удивлен по возвращении в декабре 1835 года и доброкачественности статей, в нем помещенных, и запущенности редакции, не добавившей множество книжек журнала. Таков был и потом Белинский как «редактор». (Прим. П.В. Анненкова.)

увлечения и под дыханием которого иссыхают все источники фантазии и мечтаний, Белинский вспыхнул и с гневом проговорил: «Я вижу, куда вы клоните. Вам никогда не удастся сделать из меня то, что вы хотите!» Он еще боялся за судьбу своего идеализма в Петербурге, да и долго потом, даже после отрезвления своей мысли, происшедшего в 1840 году, еще держался за него как за отличие, которое не следовало терять на новом месте. Дело, однако же, сложилось иначе.

VIII

После всего этого длинного отступления возвращаюсь к рассказу. Поселясь в Петербурге, Белинский начал ту многотрудную, работающую жизнь, которая продолжалась для него восемь лет сряду, почти без всякого перерыва, потрясла самый организм и заела его. На первых порах, после довольно долгого пребывания на квартире Панаева, он нанял себе помещение на Петербургской стороне, по Большому проспекту, в красивом деревянном домике, с довольно просторной, но сырой и холодной комнатой и с небольшим кабинетом, жарко натопленным, где я и нашел его уже зимой 1840 года. Противоположность в температуре этих комнат не производила, по-видимому, особого действия на здоровье хозяина, но зато постоянно награждала посетителей его обычными зимними дарами Петербурга – флюсами, гриппами и подчас жабами. Укрывшись в своем тропически душном кабинете, Белинский весь отдался мысли и вел сурово-уединенную, почти аскетическую жизнь, из которой по временам выходил в круг новых своих знакомых, где его строгий вид, всего чаще перемежавшийся со вспышками гнева или негодующего юмора, еще более обнаруживал основной фон, подкладку, так сказать, его страдающей души. Ошибиться было нельзя; наименее проницательный собеседник, если не понимал, то чувствовал существенную принадлежность этого

человека – живое олицетворение образов, изобретенных поэзией для передачи мучительных стремлений и порываний беспокойного сердца и возбужденной мысли. Только это был титан добродушный. В отличие от романтических типов этого рода, которых нам представляют обыкновенно лишенными слабых или любезных сторон характера, Белинский обладал в значительной степени теми и другими. Нельзя было не заметить его ребячески чистой доверчивости к хорошему слову и честному помышлению, перед ним высказанным, а потом его комического гнева на себя, когда он открывал (что делалось очень скоро) не совсем чистые источники этих заявлений. Его наивная неопытность в делах общежития беспрестанно вовлекала в ошибки такого рода, хотя за минутами подобных промахов у него следовало почти тотчас же отрезвление, и тогда он уже открывал в характерах и явлениях стороны, которые ускользали и от очень пытливых и осторожных людей.

Но, вообще говоря, потребности в людях, в водовороте жизни, в проверке себя другими и всех – друг другом Белинский тогда не обнаруживал. Он обходился без всего этого по целым неделям. После погрома, испытанного его новой теорией, он уже дни и ночи стоял перед письменным своим бюро. Довольно узкий тропический его кабинет из двух окон, между которыми стояло это бюро, имел еще, у противоположной стены и в расстоянии пяти-шести шагов, кушетку, с маленьким столиком у изголовья. Белинский почти всегда

писал, как то требуется для журнальных статей, на одной стороне полулиста и бросал страницу, как только достигал ее конца. Затем он ложился на кушетку и принимался за книгу, после чего, переменив высохшую страницу, снова принимался за перо, не испытывая никакой помехи ни в чтении, ни в письме от этих промежутков в течении мыслей. Так создавались срочные и несрочные статьи, утомлявшие его физически гораздо более, чем умственно. Рука и слабая грудь его болели, но голова оставалась постоянно свежа. Впрочем, усиленная работа эта была нужна ему морально для того, чтобы обмануть и развлечь тоску одиночества, которую он испытывал с тех пор, как покинул московский свой кружок и обменял его на другой, не заменивший старого... Он долго не мог также привыкнуть к Петербургу, к его образу жизни – размеренной и осторожной, но кончил таким полным признанием его значения и разных гражданских и полицейских гарантий для личности, им представляемых, что помирился с ним окончательно.

Но у Белинского взамен общества были тогда три постоянные, неразлучные собеседника, которых наслушаться вдоволь он почти уже и не мог, именно Пушкин, Гоголь и Лермонтов. О Пушкине говорить не будем: откровения его лирической поэзии, такой нежной, гуманной и вместе бодрой и мужественной, приводили Белинского в изумление, как волшебство или феноменальное явление природы. Он не отделался от обаяния Пушкина и тогда, когда, ослепленный

творчеством Лермонтова, весь обратился к новому светилу поэзии и ждал от него переворота в самых понятиях О достоинстве и цели литературного призвания. При отъезде моем за границу в октябре 1840 года Белинский спросил, какие книги я беру с собою. «Странно вывозить книги из России в Германию», – отвечал я. «А Пушкина?» – «Не беру и Пушкина...» – «Лично для себя я не понимаю возможности жить, да еще и в чужих краях, без Пушкина», – заметил Белинский.

О втором его собеседнике – Гоголе – скажем сейчас несколько пояснительных слов. Но что касается отношений, образовавшихся между Белинским и третьим, самым поздним или самым новым и молодым его собеседником – именно Лермонтовым, то они составляют такую крупную психическую подробность в жизни нашего критика, что об ней следует говорить особо.

Важное значение Белинского в самой жизни Н. В. Гоголя и огромные услуги, оказанные им автору «Мертвых душ», уже были указаны нами в другом месте¹¹. Мы уже говорили, что Белинский обладал способностью отзываться, в самом пылу какого-либо философского или политического увлечения, на замечательные литературные явления с авторитетом и властью человека, чувствующего настоящую свою силу и призвание свое. В эпоху шеллингианства одною из таких да-

¹¹ См. мои «Воспоминания и критические очерки», т. I, в статье о Гоголе. (Прим. П.В. Анненкова.)

леко озаряющих вспышек была статья Белинского «О русской повести и повестях Гоголя», написанная вслед за выходом в свет двух книжек Гоголя: «Миргород» и «Арабески» (1835 год). Она и уполномочивает нас сказать, что настоящим восприемником Гоголя в русской литературе, давшим ему имя, был Белинский. Статья эта вдобавок пришлась очень кстати. Она подоспела к тому горькому времени для Гоголя, когда, вследствие претензии своей на профессорство и на ученость *по вдохновению*, он осужден был выносить самые злостные и ядовитые нападки не только на свою авторскую деятельность, но и на личный характер свой. Я близко знал Гоголя в это время и мог хорошо видеть, как озадаченный и сконфуженный не столько яркими выходками Сенковского и Булгарина, сколько общим осуждением петербургской публики, ученой братии и даже приятелей, он стоял совершенно одинокий, не зная, как выйти из своего положения и на что опереться. Московские знакомые и доброжелатели его покамест еще выражали в своем органе («Московском наблюдателе») сочувствие его творческим талантам весьма уклончиво, сдержанно, предоставляя себе право отдаваться вполне своим впечатлениям только наедине, келейно, в письмах, домашним образом^[32]. Руку помощи в смысле возбуждения его упавшего духа протянул ему тогда никем не прощенный, никем не ожидаемый и совершенно ему не известный Белинский, явившийся с упомянутой статьей в «Телескопе» 1835 года. И с какой статьей! Он не давал в

ней советов автору, не разбирал, что в нем похвально и что подлежит нареканию, не отвергал одной какой-либо черты, на основании ее сомнительной верности или необходимости для произведения, не одобрял другой как полезной и приятной, — а, основываясь на сущности авторского таланта и на *достоинстве его мирозерцания*, просто объявил, что в Гоголе русское общество имеет будущего *великого писателя*. Я имел случай видеть действие этой статьи на Гоголя. Он еще тогда не пришел к убеждению, что московская критика, то есть критика Белинского, злостно перетолковала все его намерения и авторские цели, — он благосклонно принял замечку статьи, а именно, что «чувство глубокой грусти, чувство глубокого соболезнования к русской жизни и ее порядкам слышится во всех рассказах Гоголя», и был доволен статьей, и более чем доволен: он был осчастливлен статьей, если вполне верно передавать воспоминания о том времени. С особенным вниманием остановился в ней Гоголь на определении качеств истинного творчества, и раз, когда зашла речь о статье, перечитал вслух одно ее место: «Еще создание художника есть тайна для всех, еще он не брал пера в руки, — а уже видит их (образы) ясно, уже может счесть складки их платья, морщины их чела, изборожденного страстями и горем, а уже знает их лучше, чем вы знаете своего отца, брата, друга, свою мать, сестру, возлюбленную сердца; также он знает и то, что они будут говорить и делать, видит всю нить событий, которая обовьет и свяжет между со-

бою...» «Это совершенная истина, – заметил Гоголь и тут же прибавил с полужастенчивой и полунасмешливой улыбкой, которая была ему свойственна: – Только не понимаю, чем он (Белинский) после этого восхищается в повестях Полевого»^[33]. Меткое замечание, попавшее прямо в больное место критика; но надо сказать, что, кроме участия романтизма в благожелательной оценке рассказов Полевого, была у Белинского и еще причина для нее. Белинский высоко ценил тогда заслуги знаменитого журналиста и глубоко соболеznовал о насильственном прекращении его деятельности по изданию «Московского телеграфа»; все это повлияло на его суждение и о беллетристической карьере Полевого^[34].

Но решительное и восторженное слово было сказано, и сказано не наобум. Для поддержания, оправдания и укоренения его в общественном сознании Белинский издержал много энергии, таланта, ума, переломал много копий, да и не с одними только врагами писателя, открывавшего у нас реалистический период литературы, а и с друзьями его. Так, Белинский опровергал критика «Московского наблюдателя» 1836 года, когда тот, в странном энтузиазме, объявил, будто за одно «слышу», вырвавшееся из уст Тараса Бульбы в ответ на восклицание казнимого и мучимого сына: «Слышишь ли ты это, отец мой?» – будто за одно это восклицание «слышу» Гоголь достоин был бы бессмертия; а в другой раз опровергал того же критика, и не менее победоносно, когда тот выразил желание, чтобы в рассказе «Старосветские помещи-

ки» не встречался намека на *привычку*, а все сношения между идиллическими супругами объяснялись только одним нежным и чистым чувством, без всякой примеси^[35].

Вспомним также, что «Ревизор» Гоголя, потерпевший фиаско при первом представлении в Петербурге и едва не согнанный со сцены стараниями «Библиотеки для чтения», которая, как говорили тогда, получила внушение извне преследовать комедию эту, как политическую, не свойственную русскому миру, – возвратился, благодаря Белинскому, на сцену уже с эпитетом «гениального произведения»^[36]. Эпитет даже удивил тогда своей смелостью самих друзей Гоголя, очень высоко ценивших его первое сценическое произведение. А затем, не останавливаясь перед осторожными замечаниями благоразумных людей, Белинский написал еще резкое возражение всем хулителям «Ревизора» и покровителям пошловатой комедии Загоскина «Недовольные», которую они хотели противопоставить первому. Это возражение носило просто заглавие «От Белинского» и объявляло Гоголя безоглядно великим европейским художником, упрочивая окончательно его положение в русской литературе^[37]. Белинский сам вспоминал впоследствии с некоторой гордостью об этом подвиге «прямой», как говорил, критики, опередившей критику «уклончивую» и указавшей ей путь, по которому она и пошла (см. библиографическое известие о выходе «Мертвых душ», VI, 396, 400, 404 etc.). Таковы были

услуги Белинского по отношению к Гоголю; но последний не остался у него в долгу, как увидим.

Николай Васильевич Гоголь жил уже за границей в описываемое нами время и уже два года, как основался в Риме, где и посвятил себя всецело окончанию первой части «Мертвых душ». Правда, он побывал в Петербурге зимой 1839 года и читал нам здесь первые главы знаменитой своей поэмы, у Н. Я. Прокоповича, но Белинского не было на вечере: он находился случайно в Москве^{38}. Вряд ли Гоголь и считал тогда Белинского за какую-либо надежную силу. По крайней мере в мимолетных отзывах, слышанных мною от него несколько позднее (в 1841 году, в Риме), о русских людях той эпохи Белинский не занимал никакого места. Услуги критика были забыты, порваны, и благодарные воспоминания отложены в сторону. И понятно отчего: между ними уже прошли статьи нашего критика о «Московском наблюдателе», горькие отзывы Белинского о некоторых людях того кружка, который уже призывал Гоголя спасти русское общество от философских, политических и вообще западных мечтаний. Н. В. Гоголь видимо склонялся к этому призыву и начинал считать настоящими своими ценителями людей надежного образа мыслей, очень дорожащих тем самым строем жизни, который подвергался обличению и осмеянию^{39}. Николай Васильевич вспомнил о Белинском только в 1842 году, когда для успеха «Мертвых душ» в публике, уже представленных на цензуру, содействие критика могло быть не бесполез-

но. Он устроил тогда одно *тайное* свидание с Белинским в Москве, где последний случайно находился, и другое, хотя и не тайное, но совершенно безопасное, в кругу своих петербургских знакомых, не имевших никаких соприкосновений с литературными партиями; секрет свиданий был действительно сохранен, но, как я узнал после, они нисколько не успели завязать личных дружеских отношений между писателями. Все это было, однако же, еще впереди и случилось уже в мое отсутствие из Петербурга и России.

Теперь же, накануне моего отъезда за границу в 1840 году, Белинский как-то особенно был погружен а изучение и пересмотр гоголевских сочинений. Он и прежде пропитался молодым писателем настолько, что беспрестанно цитировал разные лаконически-юмористические фразы, столь обильные в его творениях, но теперь Белинский особенно и страстно занимался выводами, какие могут быть сделаны из них и вообще из деятельности Гоголя. Можно было подумать, что Белинский поверяет Гоголем самые начала, свойства, элементы русской жизни и ищет уяснить себе, в каких отношениях стоят произведения поэта к собственным философским его, Белинского, воззрениям и как они с ними могут ужиться. Здесь следует заметить, что время изменения и перелома в созерцании Белинского определить весьма трудно с некоторой точностию. Фактически несомненно, что в следующем, 1841 году свершился мгновенный поворот критика к новым убеждениям, но приготавлился он ранее и

тогда, когда критик еще не покидал старой почвы и старой теории. Я сохраняю убеждение, что вместе с другими агентами его отрешения – уроками жизни, развитием собственной его мысли и внушениями друзей – Лермонтов и Гоголь были не последними агентами, что доказывается и статьями о них, написанными Белинским в течение 1840 года. Под действием поэта реальной жизни, каким был тогда Гоголь, философский оптимизм Белинского должен был разложиться, как только его серьезно сопоставили с картинами русской действительности. Никакими логическими изворотами нельзя было помочь беде, – следовало или соглашаться с художником, обещающим еще много новых созданий в том же духе, или покинуть его как не понимающего той жизни, которую изображает. Притом же обличения Гоголя довершали ряд обличений, начатых уже самым строем жизни и критическим умом Белинского прежде. Конечно, более правильное понимание известной формулы Гегеля о тождестве действительности и разумности, освободившее ум Белинского от философского обмана, дано было совсем не Гоголем, но Гоголь его подкрепил. Таким-то образом расплачивался Николай Васильевич с критиком за все, что получил от него для уяснения своего призвания; но вот что замечательно: обоим им суждено было поменяться ролями и разойтись по тем же дорогам, по которым пришли друг к другу. Пока Белинский, выведенный однажды на почву реализма, прокладывал себе дорогу все далее и далее по одному направлению, – рома-

нист, способствовавший ему обрести этот верно намеченный путь, возвращался сам, после долгих блужданий, к той исходной точке, на которой стоял, при самом начале, его критик. Обменявшись местами, они уже, каждый с своей стороны, стремились достичь крайних, последних выводов своего положения, и оба одинаково умерли страдальцами и жертвами напряженной работы мысли – мысли, обращенной в различные стороны.

IX

Что касается Лермонтова, то Белинский, так сказать, овладевал им и входил в его созерцание медленно, постепенно, с насилием над собой. При первом появлении знаменитой лермонтовской думы «Печально я гляжу на наше поколенье», помещенной в № 1 «Отечественных записок» 1839 года, – этого монолога, над которым впоследствии критик долго и часто задумывался, которым не мог насытиться и о котором позднее не мог наговориться, – Белинский, еще живший в Москве, выразился коротко и ясно. «Это стихотворение энергическое, могучее по форме, – сказал он, – но *несколько прекраснодушное* по содержанию» ^{40}. Известно, что выражал эпитет «прекраснодушный» в нашем философском кружке. Однако же Белинский не успел отделаться от Лермонтова одним решительным приговором. Несмотря на то, что характер лермонтовской поэзии противоречил временному настроению критика, молодой поэт, по силе таланта и смелости выражения, не переставал волновать, вызывать и дразнить критика. Лермонтов втягивал Белинского в борьбу с собою, которая и происходила на наших глазах. Ничто не было так чуждо сначала всем умственным привычкам и эстетическим убеждениям Белинского, как ирония Лермонтова, как его презрение к теплому и благородному ощуще-

нию в то самое время, когда оно зарождается в человеке, как его горькое разоблачение собственной своей пустоты и ничтожности, без всякого раскаяния в них и даже с некоторого рода кичливостию. Новость и оригинальность этого направления именно и привязывали Белинского к поэту такой полной откровенности и такой силы.

Нельзя сказать, чтобы Белинский не распознавал в Лермонтове отголоска французского байронизма, как этот выразился в литературе парижского переворота 1830 года и в произведениях «юной Франции», – а также и примеси нашего русского великосветского фрондерства, построенного еще на более шатких основаниях, чем парижский скептицизм и отчаяние. Но он им отыскивал другие причины и основания, а не те, которые выходили из самой жизни поэта. Художественный талант Лермонтова закрывал лицо поэта и мешал распознать его. Кроме замечательной силы творчества, которую он постоянно обнаруживал, он еще отличался проблесками беспокойной, пытливой и независимой мысли. Это уже была новость в поэзии, и по теории источника со приходилось искать в долгом труде головы, в пламенном сердце, мучительном опыте и проч., хотя бы пришлось для этого многое наговорить на них. И вот Белинский принялся защищать Лермонтова – на первых порах *от* Лермонтова же. Мы помним, как он носился с каждым стихотворением поэта, появлявшимся в «Отечественных записках» (они постоянно там печатались с 1839 года), и как *он* прозревал в каждом из них

глубину его души, большое нежное его сердце. Позднее он так же точно носился и с «Демоном», находя в поэме, кроме изображения страсти, еще и пламенную защиту человеческого права на свободу и на неограниченное пользование ею. Драма, развивающаяся в поэме между мифическими существами, имела для Белинского совершенно реальное содержание, как биография или мотив из жизни действительного лица.

Памятником усилий Белинского растолковать настроение Лермонтова в наилучшем смысле остался превосходный разбор романа «Герой нашего времени» от 1840 года. Здесь-то, спасая Печорина от обвинения в диких порывах, в цинических выходках беспрестанно рисующегося и себя оправдывающего эгоизма, что сделало бы его лицом противозастенчивым, а стало быть, по теории и безнравственным, Белинский находит гипотезу, способную дать ключ к уразумению наиболее возмутительных поступков героя. Белинский пишет по этому случаю чисто адвокатскую защиту Печорина, в высшей степени искусственную и красноречивую. Найденная им гипотеза состоит в том, что Печорин еще не полный человек, что он переживает минуты собственного развития, которые принимает за окончательный вывод жизни, и сам ложно судит о себе, представляя свою особу мрачным существом, рожденным для того, чтобы быть палачом ближних и отравителем всякого человеческого существования. Это — его недоразумение и его клевета на самого себя. В будущем,

когда Печорин завершит полный круг своей деятельности, он представляется Белинскому совсем в другом виде. Его строгое, полное и чуждое лицемерия самоосуждение, его откровенная проверка своих наклонностей, как бы извращены они ни были, а главное, сила его духовной природы служат залогом, что под этим человеком есть другой, лучший человек, который только переживает эпоху своего искуса. Белинский пророчил даже Печорину, что примирение его с миром и людьми, когда он завершит все естественные фазисы своего развития, произойдет именно через женщину, так унижаемую, попираемую и презираемую им теперь. Как добрая нянька, Белинский следит далее за всеми движениями и помыслами Печорина, отыскивая при всяком случае всевозможные облегчающие обстоятельства для снисходительного приговора над ним, над его невыносимой претензией играть человеческой жизнью по произволу и делать кругом себя жертвы и трупы своего эгоизма. Один только раз Белинский останавливается перед выходкой Печорина совершенно растерянный, не находя уже слов для уяснения грубой мысли героя и признаваясь, что не понимает его. Случилось это тогда, когда Печорин, при мысли, что обольщенная им женщина проведет ночь в слезах, чувствует трепет неизъяснимого блаженства и проговаривает: «Есть минуты, когда я понимаю вампира! – а еще слышу добрым малым и добиваюсь этого названия!» «Что такое вся эта сцена? – восклицает наконец Белинский. – Мы понимаем ее только как свиде-

тельство, до какой степени ожесточения и безнравственности может довести человека вечное противоречие самим собою, вечно неудовлетворяемая жажда истинной жизни, истинного блаженства, но *последней ее черты мы решительно не понимаем...*»^[41].

Так боролся Белинский с Лермонтовым, который под конец, однако же, одолел его. Выдержка у Лермонтова была замечательная: он не сказал никогда ни одного слова, которое не отражало бы черту его личности, сложившейся, по стечению обстоятельств, очень своеобразно; он шел прямо и не обнаруживал никакого намерения изменить свои горделивые, презрительные, а подчас и жестокие отношения к явлениям жизни на какое-либо другое, более справедливое и гуманное представление их. Продолжительное наблюдение этой личности, вместе с другими, родственными ей по духу на Западе, забросили в душу Белинского первые семена того позднейшего учения, которое признавало, что время чистой лирической поэзии, светлых наслаждений образами, психическими откровениями и фантазиями творчества миновало и что единственная поэзия, свойственная нашему веку, есть та, которая отражает его разорванность, его духовные немощи, плачевное состояние его совести и духа. Лермонтов был первым человеком на Руси, который напел Белинского на это созерцание, впрочем уже подготовленное и самым психическим состоянием критика. Оно пустило обильные ростки впоследствии.

Таким образом, все материалы для устранения отвлеченного, философского принципа, вся нужная подготовка для выхода из фальшивого псевдогегелевского оптимизма были уже теперь налицо; но Белинский освобождался от старого воззрения, так тщательно воспитанного им в себе, медленно, как от любви, хотя уже с половины 1840 года он не мог вспоминать и говорить без ужаса и отвращения о статье своей «Менцель», которою он открыл этот замечательный год своей жизни и которая была написана им еще в Москве 1839 год)^[42]. Эстетические статьи, о которых мы сейчас говорили, последовавшие за ней, были плодом уже петербургских его дум. На них еще лежит во многих местах отблеск старого направления, но с ними снова выходил на литературную арену замечательный критик в полном обладании своей мыслью и своим увлекательным словом. Проснулись все его способности, вся прирожденная ему сила литературной прозорливости. Статьи его были не просто журнальными рецензиями – они составляли почти *события* в литературном мире того времени. Все они устанавливали новые точки зрения на предметы, читались с жадностью, производили глубокое, неизгладимое впечатление на современную публику, на всех нас, какие бы оттенки прежних, не вполне покинутых убеждений, еще ни встречались в них и как бы сам автор ни осуждал впоследствии некоторые из их положений и приговоров за излишний пыл и через меру высокий тон их. Белинский как критик-художник являлся действительно чело-

веком власти и могущества, подчиняющим себе. Достаточно вспомнить для объяснения обаятельного действия всех его рецензий 1840 года, после «Менцеля», что в каждой из них происходила, так сказать, художническая анатомия данного произведения, открывалось его внутреннее строение с очевидностью и осязательностью, дававшими иногда совершенно одинаковое, а иногда еще и большее наслаждение, чем чтение самого оригинала. Это было восстановление произведения, только уже проведенного, так сказать, через душу и эстетическое чувство критика и получившего от соприкосновения с ними новую жизнь, большую свежесть и более глубокое выражение. Так, в художническо-эстетической критике 1840 года Белинский находил выход из опутавшего его философского догматизма. С этим направлением я его и оставил при моем отъезде за границу.

Х

Прежде отъезда мне пришлось, однако же, побывать опять в Москве. На этот раз Белинский снабдил меня письмом к Василию Петровичу Боткину, которого я вовсе не знал, но о котором много и часто говорилось при мне. Я побежал к нему при первой возможности. Это было в половине июня 1840 года ^{43}.

Я застал В. П. Боткина в беседке сада, прилегавшего к известному дому Боткиных на Маросейке. Тут он устроил себе очень изящный летний кабинет, где и проводил все свободные свои часы, окруженный многочисленными изданиями Шекспира и комментариями на него европейских исследователей. Он составлял тогда статью о Шекспире. Я нашел в Боткине тех времен молодого человека в красивом парике, с чрезвычайно умными и выразительными глазами, в которых меланхолический оттенок постоянно сменялся огоньками и вспышками, свидетельствовавшими о физических силах, далеко не покоренных умственными занятиями. Он был бледен, очень строен, и на губах его мелькала добродушная, но как-то осторожная улыбка, – словно врожденный его скептицизм по отношению к людям сохранял над ним свои права и в области безграничного идеализма, в которой он тогда находился.

Впоследствии оказалось, что он стоял на границе радикального нравственного переворота, которого и сам еще не предчувствовал. Никто не обращал внимания на внезапные проблески страсти на лице и в речах, которые часто прорывались у него, и никому не приходило в голову подозревать, что в нем живет еще другой человек кроме того, которого знали и любили окружающие его друзья и товарищи.

Мы, разумеется, разговорились о Белинском и о его мучительных исканиях выхода из положений, очень основательно выведенных из данного тезиса и очень несостоятельных в приложениях к практической жизни. «Он платится теперь, — сказал мне задумчиво и как-то строго Боткин, словно обращаясь к самому себе, — за одну весьма важную ошибку в своей жизни — за презрение к французам. Он не нашел у них ни художественности, ни чистого творчества и за это объявил им непримиримую вражду, а между тем без знания их политической пропаганды о них и судить не следует. *Ваш Петербург* принесет Белинскому большую пользу в этом отношении: он непременно изменит его взгляд на французов». *Наш* Петербург, однако же, не был в настоящей мысли Боткина такой панацеей для Белинского от заблуждений, как он это заявлял. Из обширной переписки, которую вел Боткин с Белинским в то время, оказалось, что друг критика еще очень боялся, чтобы на новой почве и отделенный от своего естественного, московского круга критик не выпустил из вида великие начала философского понимания предметов лите-

ратуры и нравственности!

Разбор гоголевского «Ревизора», написанный Белинским тогда же, послужил ответом на эти напрасные опасения. Так как статья эта составляет вместе с тем и биографическую черту из жизни критика, то я и останавлиюсь на ней ^{44}.

Может быть, нигде в сильнейшей степени не сказались все самые видные качества эстетической критики Белинского, о которой говорили, как именно в этом разборе «Ревизора», которого Белинский противопоставлял «Горю от ума». Здесь каждое движение души у Хлестакова, городничего, его жены, дочери, да и вообще у действующих лиц комедии выслежено с неутомимостью мыслителя-психолога, разрешающего трудную задачу, которая ему предложена; каждый намек на их характеры, часто заключающийся в одном слове или беглой черте, уловлен со вдохновением, можно сказать, равносильным художническому. Весь ход творческой мысли автора разобран до мельчайшей подробности, и читателю статьи невольно кажется, что он присутствует в какой-то критической лаборатории, где разлагаются перед его глазами все замыслы, приемы и дальновидные расчеты художнического производства. Тайн чужой работы для Белинского как бы не существует. Между прочим здесь находилось множество мыслей, которые потом, к удивлению, были усвоены самим Гоголем и встречаются в его собственной защите своей комедии, как, например, мысль, что грубая ошибка городничего, принявшего мальчишку Хлестакова за ревизио-

ра, есть действие встревоженной совести. «Не грозная действительность, а призрак, фантом или, лучше сказать, тень от страха виновной совести должна была наказать человека призраков (городничего)», – говорил Белинский в одном месте. Даже знаменитое положение Гоголя, что честное существо в «Ревизоре» есть смех, даже и оно сказано было Белинским прежде. Упомянув, что основа трагедии всегда зиждется на борьбе, возбуждающей сострадание и заставляющей гордиться достоинством человеческой природы, Белинский продолжает: «Так и основа комедии – на комической борьбе, возбуждающей смех; однако же в этом смехе не одна веселость, *но и мщение за униженное человеческое достоинство, и, таким образом другим путем, нежели в трагедии, но опять-таки открывается торжество нравственного закона*»; и много еще подобных мест заключалось в статье ^[45]. Я не вывожу из этого сближения никаких заключений, хотя и позволительно думать, что Гоголь читал статью Белинского по крайней мере весьма внимательно. Что же касается до «Горя от ума», то Белинский считал комедию изумительной картиной нравов и гениальной сатирой, но не находил в ней художнически построенного создания и, восхищаясь ею, сожалел, что не может приложить к ней тех способов философско-эстетического анализа, которые употреблял для разбора «Ревизора». Он был еще связан теоретическими запрещениями и ограничениями; и немного позднее, в эпоху обращения к политическим и общественным вопросам, о которой

пророчил В. П. Боткин, Белинский сам считал этот приговор далеко не исчерпывающим всего значения комедии Грибоедова^{46}.

Между прочим, в это же самое время Белинский покончил все расчеты и связи с человеком, которого он ценил еще недавно очень высоко и которого глубоко уважал и любил, — с Н. А. Полевым. Под гнетом тяжелых обстоятельств жизни Н. А. Полевой, сделавшийся издателем «Сына отечества», перешел на сторону врагов философского движения в России и самого развития независимой, критической журнальной деятельности, эру которой, между прочим, он сам же и открыл у нас. Отзываясь теперь презрительно и насмешливо о молодых попытках отыскать какие-то особенные начала для жизни и мысли без справки с опытом и условиями времени, Полевой думал сделаться необходимым человеком в том кругу людей и понятий, к которым пристроился после падения «Московского телеграфа». Но расчет его и тут не удался. Он был им подозрителен и тогда, когда защищал их. Всего этого было, однако же, довольно, чтобы потушить у Белинского те искры привязанности, которые он постоянно питал в душе к прежнему бойкому публицисту и недавнему романтическому сказочнику. Он это и высказал откровенно в разборе «Очерков русской литературы» Н. А. Полевого, разборе, который может стать рядом с прежним его разбором деятельности С. П. Шевырева по яркости красок и убедительности доводов: оба эти разбора заслоняли людей

нового поколения от влияния авторитетов и репутаций, переставших отвечать потребностям времени, и оба порешили участь двух значительных имен в литературе ^[47].

Когда я вернулся после трехмесячной летней отлучки моей снова в Петербург, я нашел в Белинском большую перемену. Белинский уже вышел из психического кризиса, в котором я его оставил. Упреки, которые он делал себе в глубине души и уединенно за свое недавнее увлечение, высказывал он теперь торжественно, явно, во всеуслышание. Тон и склад его разговоров проникнут был самообличением самым ярким и беспощадным. Он уже пережил и позабыл боль скорбных признаний и делал их теперь публично. Получая укоры со всех сторон, Белинский уже свободно разбирал их, оправдывал и пополнял. Станкевич писал из Берлина с изумлением о *новых* теориях, народившихся в Петербурге; о негодовании же в круге Герцена, в котором числился, кроме Огарева и других, тогда еще и Грановский, было уже нами сказано выше. Даже и обличения посторонних лиц, гораздо менее друзей стеснявшихся приискиванием позорных источников для объяснения ультраконсервативной деятельности Белинского, находили в нем своего адвоката. Он становился на сторону своих диффаматоров, досказывал им сам черты, которые могли бы усилить ядовитость их полемики, и только для себя не находил никакого оправдания. Так разрешался его кризис. Можно было подумать, что Белинский находит что-то облегчающее для себя в этих беспрестанных истяза-

ниях своей репутации. Черта такого самобичевания проявлялась у Белинского иногда и без особенно важных поводов, порождая иногда уморительные и юмористические вспышки. Известно, что наш критик погрешил еще в 1839 году пятиактной, скучно-психической и сентиментальной комедией («Пятидесятилетний дядюшка»), о которой не любил вспоминать и которой стыдился. Однажды и уже через несколько лет после ее появления, когда Белинский имел в литературе значительное имя и влияние, он был представлен где-то известному славянскому филологу-профессору И. Срезневскому, который с первого же слова объявил, что он не сочувствует его критической деятельности, но зато находит комедию его гениальной вещью. Белинский затем уже никогда не мог вспомнить об этом отзыве без выражения безмерного изумления, как будто дело шло о чем-то совершенно невозможном и неестественном^{48}.

Достойно замечания еще и то обстоятельство, что смысл вообще философских статей Белинского не был разгадан и патриотами-консерваторами эпохи, которым статьи должны были бы прийтись по сердцу и которые, наоборот, присоединились к толпе, преследовавшей критика свистками. Даже люди очень образованные и весьма радевшие как о внутреннем, так и о внешнем достоинстве русской жизни, как, например, С. Шевырев, не угадали помощи, какую приносят статьи Белинского их собственному делу, по множеству очень умных и дельных замечок о психологии народной, ко-

торые в них заключались и опередили науку о психической жизни народов, ныне появившуюся. Образованные люди и профессора остановились только на туманном языке Белинского и далее не пошли, довольствуясь случаем лишний раз поглумиться над противником^[49]. Таким образом, большого политического смысла не обнаружилось ни с той, ни с другой стороны, но откуда же и было взять его тогда? Первые проблески некоторого политического смысла зародились у нас только в разгаре великого спора между славянофилами и западниками, там они и окрепли, о чем будем говорить далее.

XI

По осени того же 1840 года явился в Петербург молодой человек, М. Катков, из Москвы, переводчик «Ромео и Юлии», уже составивший себе репутацию человека с основательными филологическими познаниями и с замечательными способностями к отвлеченному мышлению и к критике идей. Но в это время он преследовал еще и другие цели, стараясь показаться человеком не только энциклопедического образования, но и страстных житейских увлечений, занимаясь точно так же философскими соображениями, поэзией, искусством и творчеством, как и сообщением своей физиономии демонического выражения. Желание прослыть человеком, способным понимать и чувствовать в себе все стороны существования, бросало его по временам в необычайные попытки, подсказывало действия и порывы совершенно фантастического характера, частью искренние, так как он действительно обладал страстной, увлекающейся натурой, а частью придуманные, в виде украшения, отличия, *полезной* психической черты. Все это вместе довольно плохо вязалось с планами ученой и труженической жизни, какие он делал для себя, и создавало из него загадку для окружающих, чего он и хотел. Уже с 1839 года Катков был сотрудником «Литературных прибавлений» и «Отечественных записок» г. Краевского и вместе с Белинским, при обновлении редакции по-

следнего журнала, очутился в числе главных его руководителей. По прибытии в Петербург он остановился также у И. И. Панаева – орудия и агента этого обновления. Он появился, однако же, ненадолго, пробираясь в Берлин для окончания философского и научного образования, во-первых, а во-вторых, для исполнения одного долга чести. Какая-то старая и довольно грубая, хотя и морализующая, по обыкновению, выходка Бакунина по поводу одной московской истории вызвала в самом кабинете Белинского порядочно безобразную сцену между Катковым и Бакуниным, когда оба они находились уже в Петербурге. Дело должно было разрешиться дуэлью в Берлине. К удовольствию друзей, принимавших участие в противниках, дуэль не состоялась вовсе¹². В Петербурге Катков был предшествоем, как я сказал, репутацией человека нервного характера и оригинального ума, питаемого особенно знакомством с источниками господствовавших тогда теорий, и, наконец, писателя, уже отличившегося мастерством своим выражать метко и живописно оригинальные стороны философских идей, исторических эпох и предметов искусства вообще. Критические статьи Каткова действительно возвещали очень свежий, разнообразный и сильный талант; между ними остается мне памятной рецензия его на книгу Зиновьева «Основание русской стилистики»,

¹² При отъезде моем за границу Белинский, рассказывая подробности сцены, поручал мне стараться о примирении врагов. «Было бы большим несчастьем, – говорил он, – потерять такого человека, как Катков; действуйте особенно на Бакунина – он же резонер и на сделку пойдет скорее». (Прим. П.В. Анненкова.)

где первое возникновение риторики как науки оправдывалось строем всей древней греческой жизни и цивилизации и осязательно показывалась нелепость ее претензии на звание науки в быту новых обществ. Тем же характером блестящего изложения и понимания исторической и бытовой сущности вопросов отличаются и многие другие его статьи в «Литературных прибавлениях» и «Отечественных записках» 1839 и 1840 годов. Белинский очень дорожил его сотрудничеством в «Отечественных записках» и ожидал от того больших последствий для журнала, чего, однако же, не сбылось.

Катков переживал тогда тот период развития, который можно назвать *«свирепостию молодости»* и который часто разрешается явлениями, которые кажутся совершенно невозможными и дикими в приложении к лицу, узнанному нами позднее, когда оно уже вполне определилось. С физиономии его почти не сходило тогда выражение некоторого легкого презрения к *интеллигенции*, его окружавшей, а поступки его еще сильнее выражали убеждение в своем праве не дорожить ею. Белинский не составлял исключения. Катков нимало не скрывал высокого понятия о самом себе и больших надежд, возлагаемых им на свою будущность, и думал, что они могут служить достаточным основанием для снисходительного взгляда на его резкие выходки и несправедливости К друзьям, которые только и занимались тем, чтоб поддержать, поощрить и укрепить его деятельность и влияние. В короткое время своего пребывания в Петербур-

ге, кроме некоторых библиографических статей, он перевел, вместе с другими участниками, роман Купера «Патфайндер» и составил этюд «Сарра Толстая», который появился в «Отечественных записках» почти перед самым его отъездом за границу. Белинский, еще до напечатания этого этюда, был очень доволен им и даже много говорил о нем, но не прошло и двух месяцев, как он переменял свое мнение об этюде, о чем я уже узнал впоследствии. Ему сделались вдруг противны психические изыскания в области *духа*, анализ неуловимых чувств и ощущений внутреннего человеческого существования, словом вся та метафизика ума и воли, какая обильно предлагалась статьей Каткова, некоторая начинала уже терять всякое значение для Белинского^[50]. Было и еще соображение. По всему складу мысли и деятельности Каткова, с первых же его шагов за границей, все яснее оказывалось, что он гораздо более занят мыслию водворить в своем отечестве новые основы положительного созерцания и верования, какие он открыл в позднейшей философии «откровения» Шеллинга, чем призыванием работать на просветление загрубелой русской общественной среды прямо и непосредственно, как того требовало время. Сам Катков скоро подтвердил все догадки Белинского. Еще в Гамбурге, ступая, так сказать, впервые на почву Европы, он думал, что успех «Отечественных записок» доставит ему и Белинскому средства безбедного существования на всю жизнь, а менее чем через год он прекратил все сношения с журналом. Было бы крайне

поверхностно и мелочно объяснять дело неясностью денежных расчетов между редакцией и сотрудником ее, между тем как дело разъясняется вполне отвращением Каткова следовать по пути бесповоротного отрицания, которое боится и не желает разъяснений. В 1842 году он на этом основании подозрительно относился даже к «Мертвым душам» Гоголя, как я имел случай лично убедиться, и не столько к поэме, сколько к будущим ее панегиристам, которых предвидел и которых более опасался, чем выводов самого произведения. В глухую осень 1840 года (октября 5-го) мы с ним сели на *последний* пароход, отправлявшийся из Петербурга в Любек, Белинский, Кольцов и Панаев провожали нас до Кронштадта ^{51}.

Я упомянул имя Кольцова. Это была моя первая и последняя встреча с этим замечательным человеком. Как теперь смотрю на малорослого, коренастого поэта, со скулистой, чисто русской физиономией и с весьма пытливым и наблюдательным взглядом. Все время проводов он молчал, как бы озадаченный и подавленный умными, а еще более – развязными речами литературных авторитетов, – речами, которые выслушивал с покорным вниманием неопита. Это была как будто обязательная маска, принятая им в литературном обществе, которое так много делало для распространения его известности, потому что и ко мне, совершенно неизвестному и нимало не влиятельному лицу кружка, он пошел после обеда в Кронштадте со словами: «Не забывай-

те, что вы обязаны нас учить и просвещать». Много было искреннего в чувстве, которое ему подсказывало подобные слова, но много в них было также и привычки, взятой в постоянном обращении с кругом писателей. Она не мешала, однако же, его суждению. По словам Белинского, не было человека более зоркого, проницательного и догадливого, чем Кольцов с его спокойным и покорным видом: он распознавал людей сквозь кору наносной культуры и цивилизации и судил о них очень правильно и самостоятельно. Это не мешало ему и в жизни и в поэтической деятельности отдавать по временам самого себя бесповоротно во влияние и управление какой-либо излюбленной личности, чем он тоже выражал свою русскую природу вполне. Белинский, например, распоряжался его мыслию и душой самовластно: кроме того, что критик наш высвободил его народную и поразительно образную песнь от дурных резонерских привычек, он навеял также Кольцову сперва его религиозные гимны, а затем пробудил в нем зародыши поэтического созерцания жизни и жажду по наслаждениям бытия, какую оно за собой выводит. При Кольцове оставались, однако же, все та же оригинальная форма, тот же оборот и неподражаемый склад речи, на что бы она ни обращалась; эта черта, кажется, должна была бы остановить недавние подозрения, брошенные на поэта, в присвоении чужой литературной собственности. Есть анекдот от эпохи, теперь нами передаваемой, который Белинский повторял не раз. В разгаре московского философ-

ского настроения собрался однажды у В. П. Боткина кружок друзей, занимавшихся наукой наук, и притом собрался в самом счастливом и веселом расположении духа. Тогда еще существовали для людей *радости* по вычитанной идее, по открытию нового фактора в духовной жизни, по приобретению нового горизонта для мысли и т. д. Кружок ликовал одною из этих нематериальных, отвлеченных и теперь уже немногим понятных радостей. Случайно попал на него и Кольцов, конечно, не вполне уразумевавший основания восторженных речей своих друзей, но общее настроение подействовало на него обаятельно. Он сам просветлел и, удалившись в кабинет хозяина, сел за письменный его стол и возвратился через несколько минут к приятелям с бумажкой в руках. «А я *написал песенку*», – сказал он робко и прочел стихотворение «Песнь лихача Кудрявича», пьесу, которой по-своему как бы отвечал и вторил шумной речи молодых московских энтузиастов.

Не мешает сказать мимоходом, что часть биографии Кольцова, касающаяся его семейных дел, кажется, должна быть принимаема теперь с некоторою осторожностью и поговоркой, необходимыми особенно для подтверждения догадки, что собственно никакого преднамеренного и обдуманного преследования со стороны родных не было в жизни Кольцова. Они тогда и долго потом еще не считали себя виновными перед покойным, и действительно могут быть – если не оправданы, то пощажены на суде потомства. Они жили по

правилам, обычаям и воззрениям грубой культуры, которую унаследовали от отцов, и понять не могли, что притесняют и, наконец, губят близкого человека одним образом своих диких понятий и своей жизнью по этим понятиям. Они оскорбляли и мучили свою жертву беззлобно и бессознательно, и только в этом и заключается именно трагизм семейного положения Кольцова, обреченного на жизнь в безобразной среде с той степенью развития, которую уже имел... [\[52\]](#).

Мы так и уехали, оставив Белинского при разработке эстетических начал, которые он понимал далеко не так узко, как положено думать об эстетических приемах вообще. По некоторым чертам, мною уже приведенным, можно судить, какое многозначительное содержание он сообщал им, а чем далее он шел, тем все большую широту получали и его эстетические начала, обнимавшие не одни только условия и задачи искусства, но и связанные с ними неразрывно вопросы жизни и морали. Кстати, о последней. При отъезде я уносил с собой образ Белинского преимущественно как нравоучителя и об этом считаю нужным сказать теперь несколько слов.

Кто не знает, что моральная подкладка всех мыслей и сочинений Белинского была именно той силой, которая собирала вокруг него пламенных друзей и поклонников. Его фанатическое, так сказать, искание правды и истины в жизни не покидало его и тогда, когда он на время уходил в сторону от них. Авторитет его как моралиста никогда не страдал между окружающими от его заблуждений. Необычайная честность

всей его природы и способность убеждать других и освобождать их от дурных приростов мысли, продолжали действовать на друзей обаятельно и тогда, когда он шел вразрез с их убеждениями. Очерк его моральной проповеди, длившейся всю жизнь его, был бы и настоящей его биографией.

К концу 1840 года нравственное уже не выводилось им более из полного устранения своей личности, своего я, и из передачи всего себя в лоно беспредельной *любви*, как в первый (шеллинговский) период развития; оно не заключалось также в *понимании* самого себя как высшего творческого момента в деятельности всеобщего разума и высшей идеи, как выходило по Гегелю. Беспредельная *любовь* и абсолютное *понимание* своей духовной сущности как начала, из которых вытекают все правила жизни, заменялись другим и единственным деятелем. Теперь нравственное для Белинского состояло в эстетическом воспитании самого себя, то есть в приобретении чуткости к правде, добру, красоте и в усвоении неодолимого органического отвращения к безобразию всякого вида и рода. Я живо помню еще беседы, в которых он развивал это положение. По его убеждению, хорошим пособием для возведения себя на степень разумного человека и просветленной личности может служить изучение основных идей в истинно художественных созданиях. Все эти основные идеи суть вместе с тем и откровения морального мира. Из разбора и усвоения их возникает в обществе мало-помалу кодекс нравственности, не писанный, без мра-

морных таблиц и хартий, но лучше их укореняющийся в сознании отдельных лиц, лучше их устроивающий внутренний быт человека, а через человека и быт целых поколений. Каждый новый гениальный художник привносит, так сказать, в этот свободный кодекс нравственных начал новую черту, новую подробность, которые почерпнуты прямо из наблюдения и определения элементов духовной природы человека. Образуется рядом с живущими, действующими, писанными и неписанными, нужными и ненужными уставами общежития и благочиния другой устав, неизмеримо более светлый, разумный и серьезный, которому следуют люди, развитые эстетически. Человек, воспитанный на миросозерцании великих художников, поэтов, философов, мыслителей, под конец сам становится способным к творчеству в области нравственных идей, открывает новые начала правды и возвещает их, покаясь им сам и покаяя им других. Белинский нашел очень много глубоких соображений на этой почве, с которой он сошел в конце своего поприща на другую, тоже давшую ему много немаловажных выводов и о которой еще речь впереди.

И как он вострепнулся, когда около той же эпохи возвещен был новый журнал «Маяк», долженствовавший, как говорили, преимущественно способствовать возобновлению и развитию старой, допетровской и *испытанной русской* морали, позабытой нашим светским и литературным обществом^[53]. Белинский прежде всех бросился поднять эту перчатку. Он отозвался о скором появлении журнала враждебно

и сердито и перед самым отъездом моим показал мне даже место из приготавливаемой им статьи, где упоминалось о журнале: «В нашу уснувшую литературу начал вкрадываться китайский дух; он начал пробираться не под своим собственным, то есть китайским именем *Дзунь-Кин-Дзынь*, а с чужим паспортом, с подложною фамилией и назвался *моральным духом*. Говорят, что добрые мандарины приняли благое намерение издавать на русском языке журнал, имеющий целию распространение в русской литературе этого благовонно-китайского духа» (в разборе «Ольги», романа автора «Семейства Холмских»)^{54}. Выдуманное китайское слово забавляло самого автора, но оно не выражало еще вполне степени негодования, объявшей его при известии о замысле основать журнал для защиты отживших начал, хотя бы некогда и очень важной исторической эпохи. Все это было как бы предчувствием той ожесточенной борьбы, какую он поведет скоро против тех же начал с врагами, гораздо более дельными и многочисленными, чем будущая редакция обещанного журнала¹³.

Частые нападки Белинского на моральничанье повели, однако же, к недоразумению, которое чуть ли не продолжается и до сих пор. Надо припомнить, что Белинский вполне

¹³ По странной случайности в то самое время, когда обновленные «Отечественные записки» принимали то направление, о котором говорим, в Москве возникал журнал «Москвитянин», который должен был служить как бы противодействием петербургскому изданию. «Москвитянин» был основан в 1841 году. (Прим. П.В. Анненкова.)

усвоил себе деление Гегеля нравственных начал на две области: *моральную* (Moralitat), к которой он отнес более или менее хорошо придуманные правила общежития, и собственно *нравственную* (Sittlichkeit), которая объемлет у него самые законы, управляющие психическим миром человека и порождающие этические потребности и представления. Сделавшись проводником этих мыслей в русской жизни, Белинский начал свой долгий подвиг преследования в литературе и вообще явлениях нашего общества того, что он называл моралью и моральничаньем. Когда возвратилось к нему после некоторого перерыва его яркое и откровенное слово, он уже не прекращал своего неусыпного гонения на моральничанье, сильно господствовавшее тогда у нас в театре, словесности и жизни, так как посредством его люди прикрывали свою духовную наготу и старались обмануть себя и других относительно нравственной своей пустоты. Все, что отзывалось благовидным, но коварным резонерством, желающим подменить очевидные факты лживым их толкованием, все, что носило печать слабосильной, пустой сентенции, рассчитанной на получение дешевым способом, без хлопот и усилий, репутации честности и порядочности, наконец все, что отзывалось китайским раболепным отношением к старине и изуверским отвращением к трудам нового времени, все это клеймилось у Белинского одним прозвищем «морали и моральничанья» и преследовалось со смелостью, весьма замечательной по тому времени. Беспощадное обличение

этого чудовища «морали» рассеяно у него почти по всем его статьям от той эпохи. Чтобы ознакомиться, каким энергичным языком оно обыкновенно производилось, любопытные могут прочесть любую из его рецензий (см., например, рецензию на роман Р. Зотова «Цин-киу-тонг», V, 261) или любой театральный отчет (см. отчет о комедии С. Навроцкого «Новый Недоросль», VI, 163^[55] – Белинский писал и театральные фельетоны при «Отечественных записках»). Он достиг того, что опошлил у нас самое слово «мораль», но работа эта не прошла ему, однако же, даром. Она дала повод его врагам составить ему, пользуясь недоразумением и игрой слов, репутацию безнравственного существа, не признающего законов, без которых никакое общество держаться не может. Они успели объявить безнравственным человека, который всю жизнь искал основных принципов идеально благородного существования на земле, который был, назло своим насмешкам над моралью, одним из замечательнейших *моралистов своей эпохи* и который проповедовал и поддерживал кругом себя спасительную ненависть ко всему пошлому, лицемерному, унижающему.

Я провел три года за границей, весьма мало получая известий из родины. В этот промежуток времени свершился весьма важный переворот в психическом состоянии и в направлении всей деятельности Белинского, – а стало быть, и в его представлениях о нравственном, как скоро увидим.

XII

Мы покинули Петербург за непривычным для него занятием. Петербург принялся за чтение иностранных газет: он был взволнован неожиданно *египетским* вопросом. Десять лет перед тем, в начале тридцатых годов, публика наша очень мало интересовалась даже и таким событием, как французский переворот 1830 года, и не справлялась о причинах, его породивших. Теперь было несколько иначе: по первому слуху о возможности столкновений в Европе любопытство овладело даже и ленивыми умами. Иностранные газеты и брошюры, насколько их можно было достать, очутились в руках даже и наименее привычных к такой ноше. Потребность справляться о ходе дел в Европе осталась, однако же, и по миновании грозы. То, что прежде составляло, так сказать, привилегию высших аристократических и правительственных сфер, становилось делом общим.

Влияние, какое начинает оказывать с 1840 года Европа и ее дела на тогдашнюю нашу интеллигенцию, заставляет, меня нехотя обратиться к туристским моим воспоминаниям и сказать несколько слов о том, что русские находили вообще в современной Европе и преимущественно во Франции, сменившей Германию в их благорасположении к западным культурам.

Итак, в Западной Европе, куда мы прибыли через четыре

дня довольно бурного плаванья, — шли большие приготовления. Германия собиралась на войну с Францией за принцип *законности*, нарушенный египетским пашой, который вздумал переменить вассальные свои отношения к Порте на протекторат Франции, поддерживавшей его в этом намерении. Англия, весьма мало интересовавшаяся принципами законности, когда они призывались европейскими кабинетами, поднялась первая за святость их, когда дело пошло о Турции. Правительства континента страшно обрадовались этой поддержке Англии: она давала им возможность обнаружить, без всякого риска, сдерживаемую дотоле ненависть к революционной, *беспринципной* Франции; народы их, еще лишенные представительства, собирались биться с врагом за свою честь, страдающую от самохвальства парижских журналистов, от бравад республиканцев и левой стороны французской палаты депутатов. Катавасия эта начинала сильно разгораться, когда мы высадились на берег в Травемюнде ^[56]. На одной станции, по дороге из Любека в Гамбург, М. Катков показал мне, покуда нам готовили завтрак, листок немецкой газеты, где сообщалась новинка, знаменитая патриотическая песенка Беккера: «*Sie sollen ihn (Рейна) nicht haben*»¹⁴, облетевшая потом всю Германию из конца в конец.

Воинственное движение по поводу дикого, свирепого и, несмотря на лукавство свое, пошловатого египетского эксплуататора, к счастью, длилось недолго, что избавило Евро-

¹⁴ Он (Рейн) не должен стать ихним (*нем.*)

пу от удовольствия видеть за французскими «contingents»¹⁵ фригийские шапки, а за немецкими «ландштурмами»¹⁶ – и наших интендантских чиновников. Луи-Филипп утомился каждодневно слушать «Марсельезу» под окнами Тюльери и получать ежеминутно известия о военно-революционном настроении умов; а благоразумная Англия, заручившись трактатом почти со всей Европой, который гарантировал права Турции, оставила его открытым на случай присоединения к нему Франции, когда пожелает ^[57]. Все было спасено таким образом, и Нептуны с берегов Сены и Темзы могли без стыда вернуть назад выпущенную ими бурю и отойти на покой.

Когда все приутихло в северо-германском мире, оказалось, что Франция не только не потеряла у него кредита, но чуть ли он еще и не вырос. По крайней мере так можно было думать в Берлине по соединенным усилиям полиции, церкви, науки, театра и даже балета – отклонить возбужденное внимание публики от Парижа и дел его. Целые ведомства и корпорации в Берлине, казалось, только и думали о том, чтоб бороться с Парижем, мешать его влиянию, предохранять людей от его соблазнов как в мире идей, так и в житейском мире, изобретая на замену их свои собственные соблазны, не столь решительного и яркого характера.

Не говоря уже о попытках придать бедному тогда городу

¹⁵ войсками (*франц.*)

¹⁶ военнообязанными (*нем.*)

на реке Шпрее фальшивое подобие большой резиденции и важного политического центра, – вплоть до 1848 года там сочинялись проповеди, выходили ученые трактаты, создавались философия и искусство для борьбы с французским *нечестием* и для пристыжения его. Один вопрос проводился в бесчисленных видах и слышался, можно сказать, повсюду: допустит ли солидный немецкий ум, немецкая верность историческим преданиям, привязанность немцев к своему очагу и домашним порядкам, наконец немецкая потребность добираться до ядра каждой мысли – допустят ли они восторжествовать над собой легкомыслию и нечестию одного романского племени, растерявшего коренные основы человеческого и гражданского существования. Вопрос этот открыто ставился представителями власти, министрами, ораторами, с церковных кафедр, многими профессорами, журналистами, литераторами и художниками. Присмирелая, осторожная Франция Луи-Филиппа порождала такое сокровище тайной злобы и гнева в некоторых официальных и консервативных кругах, какого они не нашли у себя, когда та же Франция, через 15 лет тяготела почти над всеми европейскими кабинетами¹⁷. Дело объясняется просто: июльская революция 1830 года впервые нанесла тяжелый удар трактатам 1815 года и нравственным и политическим основам, уста-

¹⁷ Разумеется, при этом были, как и всегда, блестящие исключения: такие люди, как Гумбольдт, Варнгаген, Ранке, Гервинус, Ганс и др. никогда не исповедовали ужаса к французским идеям вообще и к французскому обществу в частности. (Прим. П.В. Анненкова.)

новленным «Священным союзом». Рана, нанесенная Францией 1830 года обычному порядку дел и течению мыслей в Европе, была далеко не смертельна, но эта рана все-таки болела и возбуждала тяжелые мысли насчет исхода болезни. Отсюда и крики, призыв бесчисленных врачей и искание возможных средств скорого исцеления.

Покуда, однако ж, все попытки заслонить как-нибудь от глаз людей Париж и Францию не вполне достигали желаемого успеха. Тому много мешала и так называемая «юная Германия», обратившая у нас тотчас же внимание на себя. Побежденная десять лет тому назад на улицах и площадях, она успела теперь захватить в свои руки часть публицистики, философскую полемику и преимущественно обличение немецкой науки, жизни и немецкого искусства; она открыто шла за знаменем и фортуной чужестранного народа, умеющего так много ставить политических и общественных вопросов перед собой. Не то чтобы партия эта имела какую-либо плодотворную государственную идею или обладала каким-либо учением, способным отвечать на все требования. Она предприняла только расшевелить немецкий мир и имела за собой даже и некоторое довольно значительное меньшинство осторожных и хладнокровных умов, которые возмущались долгим промедлением в исполнении некоторых торжественных обещаний, данных народам в 1813 году и недавними попытками изменить, по возможности, смысл и сущность протестантизма. Большинство, однако же,

сопротивлялось разлагающему действию «юной Германии», сколько могло. Общество немецкое, с администрацией во главе, приняло тогда очень простую систему делить людей на два разряда: на людей, симпатизирующих Франции, позабыв все многочисленные ее вины перед Германией, и на людей, доверяющих немецкому гению, хотя бы он еще и не вполне обнаружил все свои силы и средства. Этот последний отдел, покровительствуемый и высшими официальными сферами, исповедовал еще и учение, по которому всякой свободной политической деятельности народа должна всегда предшествовать строгая подготовка к ней в безмятежном царстве мысли, науки и теории. Берлинский университет, благодаря соединенным усилиям администрации и людей науки, вырос сам собой в готовое царство такого рода: немецкая ученость процветала там, как нигде. Пользуясь правом ознакомления с курсами прежде выбора их, мы каждый вечер ходили по аудиториям и слушали знаменитейших его профессоров. Я еще застал в университете почтенного Вердера, друга и учителя Станкевича, Грановского, Тургенева, Фролова и многих других русских. Он объяснял логику Гегеля и продолжал цитировать стихи и афоризмы из Гете для сообщения красок жизни и поэзии отвлеченным формулам учителя. Риттер, Шеллинг тоже открыли свои курсы. Любопытна была для меня лекция Сталя – философа-пиетиста и одного из будущих основателей газеты «Kreuz-Zeitung», который излагал основания, необходимые для осуществления истинно

христианского государства, нигде еще не достигшего вполне своего настоящего типа и т. д.

Однако же либеральное, политическое движение умов, данное 1830 годом, не заглушалось конференциями берлинского университета, а, напротив, еще росло под его тению. Для поддержания его существовали тогда и сильно шумели «Jahrbucher» Руге, чисто революционный орган, тоже не покидавший философизма, но сделавший его орудием преследования немецких порядков и вообще скромности и узкости немецкого созерцания жизни^[58]. Как бы в опровержение этого упрека отечественной науке, Германия произвела несколько ранее книгу, исполненную теологической эрудиции и возбуждавшую, на первых порах, повсеместный ужас – не только в советах и канцеляриях, но и между отъявленными либералами – известную книгу Штрауса^[59]. Свободное исследование начинало перерастать требования тех, которые его возбудили и защищали. Уже недалеко было то время, когда немецкая эрудиция и теория разовьют, особенно в области теологии и политической экономии, такую смелость выводов и положений, что подскажет тогдашнему газетному и клубному нашему мудрецу, Н. И. Гречу, его общеизвестное глубокомысленное замечание. Около 1848 года он во всеуслышание говорил: «Не Франция, а Германия сделалась теперь рассадником извращенных идей и анархии в головах. Нашей молодежи следовало бы запрещать ездить не во Францию, а в Германию, куда ее еще нарочно посылают

учиться. Французские журналисты и разные революционные фантазеры – невинные ребята в сравнении с немецкими учеными, их книгами и брошюрами». Он был прав в последнем отношении, но покамест можно было еще безопасно для своей нравственности оставаться в Берлине и свободно выбирать точку зрения и свою тенденцию между спорящими сторонами. У всякого новоприезжего туда из русских соотечественники его, уже прожившие несколько лет в этом центре немецкой эрудиции, шутили спрашивали, если он изъявлял желание оставаться в нем: чем он прежде всего намерен быть – *верным ли*, благородным немцем (*der treue, edle Deutsche*), или суетным, взбалмошным французом (*der eitle alberne Franzose*). О том, не захочет ли он остаться русским – не было вопроса, да и не могло быть. Собственно русских тогда и не существовало; были регистраторы, ассессоры, советники всех возможных наименований, наконец помещики, офицеры, студенты, говорившие по-русски, но русского типа в положительном смысле и такого, который мог бы выдержать пробу как самостоятельная и дельная личность, еще не нарождалось.

В одном из берлинских кафе («Под липами») у Спарнья-пани, отличавшемся громадным количеством немецких и иностранных газет и журналов, я встретил однажды вечером двух русских высокого роста, с замечательно красивыми и выразительными физиономиями, Тургенева и Бакунина, бывших тогда неразлучными. Мы даже и не раскланя-

лись; ни с одним из них я еще не был знаком и не предчувствовал близких моих отношений к первому. В Берлине же я распрощался и с М. Катковым. Он записался в слушатели университета, а я отправился на юг, поближе к Италии, чтобы с первыми весенними днями ступить на ее классическую почву^{60}.

XIII

Зиму 40—41 годов мне привелось прожить в меттерниховской Вене. Нельзя теперь почти и представить себе ту степень тишины и немоты, которые знаменитый канцлер Австрии успел водворить, благодаря неусыпной бдительности за каждым проявлением общественной жизни и беспредельной подозрительности к каждой новизне на всем пространстве от Богемских гор до Байского залива и далее. Бывало, едешь по этому великолепно обставленному пустырю, как по улице гробниц в Помпее, посреди удивительного благочиния смерти, встречаемый и провожаемый призраками в образе таможенников, паспортников, жандармов, чемоданщиков и визитаторов пассажирских карманов. Ни мысли, ни слова, ни известия, ни мнения, а только их подобия, взятые с официальных фабрик, заготавливавших их для продовольствия жителей массаами и пускавших их в оборот под своим штемпелем. Для созерцательных людей это молчание и спокойствие было кладом: они могли вполне предаться изучению и самих себя и предметов, выбранных ими для занятий, уже не развлекаясь людскими толками и столкновениями партий. Гоголь, Иванов, Иордан и много других жили полно и хорошо в этой обстановке, осуществляя собою, еще задолго до Карлейля, некоторые черты из его идеала мудрого человека, благоговейно поклоняясь гениям искусства и ли-

тературы, сберегая про себя святыню души, отдаваясь всем своим существом избранному делу и не болтая зря со всеми и обо всем по последнему журналу. Но за мудрецами и созерцательными людьми виднелась еще шумная, многоглазая толпа, не терпящая долгого молчания кругом себя, особенно при содействии южных страстей, как в Италии. Забавлять-то ее и сделалось главной заботой и политической мерой правительств. Кто не слышал об удовольствиях Вены и о постоянной, хотя и степенной, полицейски-чинной и размеренной оргии, в ней царствовавшей? Кто не знает также о праздниках Италии, о великолепных оркестрах, гремевших в ней по площадям главных ее городов каждый день, о духовных процессиях ее и об импресариях, поставлявших оперы на ее театры, причем шумной итальянской публике позволялось, несмотря на двух белых солдат, постоянно торчавших по обеим сторонам оркестра с ружьями в руках, беситься как и сколько угодно. Развлекать толпу становилось серьезным административным делом, но повторять эту картину, вслед за многими уже свидетелями, не предстоит здесь, конечно, никакой надобности.

Одна черта только в этом мире, так хорошо устроенном, беспрестанно кидалась в глаза и поражала меня. Несмотря на всю великолепную обстановку публичной жизни и несмотря на строжайшее запрещение иностранных книг (в моденском герцогстве обладание книгой без цензурного штампа наклеивалось ни более, ни менее, как *каторгой*), французская

беспокойная струя сочилась под всей почвой политического здания Италии и разъедала его. Подземное существование ее не оставляло никакого сомнения даже в умах наименее любопытных и внимательных. Оно не было тайной и для австрийского правительства, которому оно беспрестанно напоминало о грустной необходимости считать себя, несмотря на трактаты, временным, случайным правительством в предоставленных ему провинциях и умножать, для самосохранения, войско, бюджет, наблюдения, мероприятия и т. д.

В марте 1841 года я уже был в Риме, поселился близ Гогоя и видел папу Григория XVI действующим во всех многочисленных спектаклях римской святой недели и притом действующим как-то вяло и невнимательно, словно исправляя привычную домашнюю работу. В промежутках облачения и потом обрядов он, казалось, всего более заботился о себе, сморкался, откашливался и скучным взором обводил толпу сослужащих и любопытных. Старый монах этот точно так же управлял и доставшимся ему государством, как церковной службой: сонно и бесстрастно переполнил он тюрьмы Папской области не уголовными преступниками, которые у него гуляли на свободе, а преступниками, которые не могли ужиться с монастырской дисциплиной, с деспотической и вместе лицемерно-добродушной системой его управления. Зато уже Рим и превратился в город археологов, нумизматов, историков от мала до велика. Всякий, кто успевал продраться до него благополучно сквозь сеть различного рода

негодяев и мошенников, его окружавшую, и отыскать в нем наконец спокойный угол, превращался тотчас же в художника, библиофила, искателя редкостей. Я видел наших отдыхающих откупщиков, старых степенных помещиков, офицеров от Дюссо, зараженных археологией, толкующих о памятниках, камнях, Рафаэлях, перемешивающих свои восторги возгласами об удивительно глубоком небе Италии и о скуке, которая под ним безгранично царствует, что много заставляло смеяться Гоголя и Иванова: по вечерам они часто рассказывали курьезные анекдоты из своей многолетней практики с русскими туристами. К удивлению, я заметил, что французский вопрос далеко не безынтересен даже и для Гоголя и Иванова, по-видимому успевших освободиться от суетных волнений своей эпохи и поставить себе опережающие ее задачи. Намек на то, что европейская цивилизация может еще ожидать от Франции важных услуг, не раз имел силу приводить невозмутимого Гоголя в некоторое раздражение. Отрицание Франции было у него так неозвратно и решительно, что при спорах по этому предмету он терял обычную свою осторожность и осмотрительность и ясно обнаруживал не совсем точное знание фактов и идей, которые затрогивал.

У Иванова доля убеждения в той же самой несостоятельности французской жизни была ничуть не менее, но, как часто случается с людьми глубоко аскетической природы, искушения и сомнения жили у него рядом со всеми верованиями его. Он никогда не выходил из тревог совести. Можно да-

же сказать про этого замечательного человека, что все самые горячие попытки его выразить на деле в творчестве свои верования и убеждения рождались у него так же точно из мучительной потребности подавить во что бы то ни стало волновавшие его сомнения. И не всегда удавалось ему это. При том же, наоборот с Гоголем, он питал затаенную неуверенность к себе, к своему суждению, к своей подготовке для решения занимавших его вопросов и потому с радостью и благодарностию опирался на Гоголя при возникающих беспрестанно затруднениях своей мысли, не будучи, однако же, в состоянии умиротворить ее вполне и с этой поддержкой. Вот почему при неожиданно возникшем диспуте нашем с Гоголем за обедом, у «Фальконе», о Франции (а диспуты о Франции возникали тогда поминутно в каждом городе, семействе и дружеском кругу), Иванов слушал аргументы обеих сторон с напряженным вниманием, но не сказал ни слова. Не знаю, как отразилось на нем наше словопрение и чью сторону он втайне держал тогда. Дня через два он встретил меня на Monte-Pincio и, улыбаясь, повторил не очень замысловатую фразу, сказанную мною в жару разговора: «Итак, батюшка, Франция – очаг, поставленный под Европу, чтобы она не застывала и не плесневела». Он еще думал о разговоре, между тем как Гоголь, добродушно помирившись в тот же вечер со своим горячим оппонентом (он преподнес ему в залог примирения апельсин, тщательно выбранный в лавочке, встретившейся по дороге из «Фальконе»), забыл и думать

о том, что такое говорилось час тому назад.

Надо сказать, что прения по поводу Франции и ее судеб раздавались во всех углах Европы тогда, да и гораздо позднее, вплоть до 1848 года. Вероятно, они происходили в то же время и там, далеко, в нашем отечестве, потому что с этих пор симпатии к земле Вольтера и Паскаля становятся очевидными у нас, пробивают кору немецкого культурного наслоения и выходят на свет. Но и при этом следует заметить, что русская интеллигенция полюбила несовременную, действительную Францию, а какую-то другую – Францию прошлого, с примесью будущего, то есть идеальную, воображаемую, фантастическую Францию, о чем говорю далее.

XIV

Чем более приходилось мне узнавать Париж, куда я попал наконец в ноябре 1841 года, тем сильнее убеждался, что повод для зависти соседей он действительно заключает в себе очень много благодаря сильно развитой общественной жизни своей, своей литературе и прочему, но причин для суеверного страха перед его именем он содержит весьма мало. Я застал Париж волею или неволею подчиненным строго конституционному порядку; правда, что этого никто не хотел видеть, а видели только опасности, представляемые народным характером французов, забывая притом коренное отличие конституционного режима, состоящее в его способности мешать развитию дурных национальных сторон и наклонностей. Еще очень много было людей, считавших даже это средство спасать народы от заблуждений и увлечений опаснее самого зла, которое оно призвано целить.

После популярного воинственного Тьера управление Францией принял на себя англоман по убеждениям Гизо^[61], который в ненависти и презрении к самодеятельности и измышлениям народных масс и их вожаков совершенно сходился с королем, хотя оба они были обязаны именно этим массам и вожакам своим возвышением. Оба они были также и замечательные мыслители в разных родах: король — как

скептик, много видевший на своем веку и потому не полагавшийся на одну силу принципов без соответственного подкрепления их разными другими негласными способами; министр его – как бывший профессор, привыкший устанавливать основные начала, им самим и открытые, и верить в их непогрешимость. Из соединения этих двух доктринеров противоположного рода возникла особая система конституционного правления, старавшаяся водворить в стране переворотов мудрствующую, резонирующую и себя проверяющую свободу. Система располагала множеством приманок для энергических людей, которым нужно было составить себе имя, положение, карьеру, – но беспощадно относилась к тем, которые не признавали ее призвания водворить порядок в умах и ее учение о важности правительственных сфер и строгой иерархической подчиненности. Доброй части французов, однако же, система эта казалась олицетворенной, невообразимой пошлостью: жить без всякой надежды на успех какой-либо внезапной политической импровизации, какого-либо отчаянного и счастливого покушения (*coup-de-tete*), которые, сказать мимоходом, все подавлялись с особенной энергией и скоростью министерством Гизо в течение восьми лет, – жить так значило, по собственным словам партизанов непосредственной народной деятельности, обречь себя на позор перед потомством. Партии истощались в усилиях подорвать министерство, и в 1848 году совершенно случайным образом опрокинули его, но уже вместе с конституци-

онной монархией.

Говоря правду, им действительно не за что было любить это министерство. Его «мещанская» честность и стыдливость мешали ему лакомить Францию фразами о ее призвании побеждать народы, к вящему их преуспеянию, и воспрещали также разделять восторги толпы к недавнему еще прошлому страны, которое величалось не иначе, как временем доблестей и славы. Оно вдобавок неустанно обличало пустоту и ничтожество народных идеалов, проектов революционного обновления государства и различных укоренившихся догматов народного самолюбия и тщеславия. Вся эта добропорядочность поведения не могла сделать, конечно, правления Гизо популярным в его отечестве^{62}. Да он и не гнался за популярностью, презирая ее столько же, сколько и героев, вознесенных клубами и партиями, и рассчитывая единственно на поддержку деловой, степенной части населения, которая в нужную минуту ему, однако же, позорно изменила, как известно. Взамен популярности, он искал почетного имени в истории и думал его найти вместе со своим старым королем, сделав из Франции свободное и благочинное государство, водворяя в нем конституционные *нравы*, работая неусыпно за обузданием крайних политических страстей – и все это под перекрестным огнем печати, которая, несмотря на пресловутые *сентябрьские* законы, пользовалась при нем свободой, не имевшей себе подобия на континенте, за исключением маленькой Бельгии и некоторых кантонов Швей-

царии. Притом же каждый день Гизо приносил свою систему на публичное обсуждение в тогдашние почти постоянно бурные заседания палаты депутатов, где он часто достигал до героизма в откровенности и до цинизма в ответах врагам. Впоследствии вся эта кипучая жизнь, выработывавшая исподволь конституционный фундамент для страны, нагло объявлена была, при второй империи, презренной игрой в парламентаризм и заменена игрой полицейских агентов на улицах, скандальной журналистикой в печати и законодательным корпусом в четырех глухих стенах, без прав трибуны и без гласности!

Из боязни прослыть эгоистическим «буржуа», лишенным органа для понимания народных стремлений и скрытых бедствий работающих классов, немногие решались тогда высказывать вполне все, что они думали о Париже сороковых годов. Достоверно однако же, что путешественники имели тогда дело с городом вполне изящным по своим приемам и обычаям, который отличался, как естественным следствием конституционных порядков, мягкостью сношений, отсутствием мелкой подозрительности к людям, возможностью для всякого иностранца отыскать сочувствие, симпатический отголосок на любое серьезное мнение или начинанье, а наконец, и относительною честностью всех сделок частных людей между собою. Все это, как известно, исчезло тотчас же при Второй империи. Для подтверждения этого краткого очерка достаточно поставить его в параллель с тем, чем сде-

лался город Париж после потери июльской конституции.

На совести и репутации Гизо, конечно, есть несколько пятен. Так, его упрекали в употреблении неблагородных средств для поддержания своей системы, в подкупах избирателей и особенно в том, что для легчайшего управления ими он держал число избирателей на ограниченной цифре, какую застал сам. Все это правда и опровергнуто быть не может, но правда также и то, что упрочить конституционные порядки во Франции он мог только, как доказал это последующий опыт, единственно с тем персоналом единомышленников, который находился у него в руках. Таким знатокам английской истории, как король Луи-Филипп и Гизо, не могло быть безызвестно, что только *упроченная* конституционная система бывает способна к перестройке себя совершенно заново, не теряя ни своей силы, ни своих оснований. Пример английской конституции был налицо: она имела тоже свои эпохи «*снисходительных*» подкупных парламентов, но не только победоносно вышла из всех опасностей и затруднений, а изменила все законодательство о выборах в камеру общин, восстановила право обиженных местностей и сословий на посылку депутатов в парламент и переформировала весь состав представительства, не утерав при этом ни на волос коренного своего значения и влияния на страну. Весь вопрос, таким образом, сводился для Гизо и его администрации на *упрочение* конституции, и нельзя сказать, чтобы он слепо, эгоистически и бессознательно защищал дей-

ствующие законы о выборах. В жару прений о расширении их он не раз заявлял мнение, что дело изменения их не может ограничиться в такой стране, как Франция, одним присоединением *способностей* к лику избирателей. За этим присоединением «способностей» он уже прозревал новые уступки и всеобщее народное голосование – тот грубый и ничего не выражающий ответный вопль толпы, которая постоянно возвращает вопрошателю только слова, брошенные им в ее среду, что и совершалось постоянно при Наполеоне III. Как бы то ни было, непозволительно предположить, что парламентаризм Гизо и Луи-Филиппа, столько преследуемый и позоримый впоследствии их врагами, поднял бы в постепенном прогрессивном своем развитии благосостояние Франции и рабочих ее классов не менее последующих *декретов* Второй империи о национальных мастерских, о перестройке целиком заново Парижа, о создании «городков» для мастеровых (*cites ouvrières*) и проч.

XV

Нужно ли говорить, что сочувствием нетерпеливых или пылких умов в Европе пользовалась совсем не Франция Гизо, а та, которая стояла за нею и протестовала против ее конституционных затей, не отвечающих, по ее мнению, духу страны. В самом деле, что за надобность была германским передовым людям, а за ними и другим кружкам политиков до какой-то новой Франции, старающейся держаться в границах своей хартии, Франции приличной, благопристойной и тем самым извращающей все старые понятия о стране, которые сложились у народов с конца прошлого столетия? Для них это была совершенно неведомая Франция, которую они и изучать не хотели, а искали прежней, еще недавней, хорошо всем знакомой, типической Франции, той, которая имеет абсолютные решения по всем вопросам социального, политического и нравственного характера, а когда они слишком долго медлят своим появлением, принимает меры вызвать их силой. Вот эта последняя, старая Франция и была еще тогда для многих в Европе исконной, вековой Францией, а другая, только что начинавшая показываться на политическом горизонте, считалась подлогом, наваждением злого духа, словом – призраком, самозванно подменившим родовую физиономию страны какою-то отвратительно гладкой глупой маской. Не зная, чем объяснить это превращение, за-

границные партии объясняли его не иначе, как насилием, беспримерным в летописях истории: смирный король-гражданин, Луи-Филипп, постоянно честился у себя дома и за порогом его прозвищем «le tyran», Гизо называли за границей, например в Англии, конституционным «герцогом Альбой» и тому подобными именами и т. д. Воззрение русских кружков на Францию недалеко отходило от общего представления ее дел, сложившегося у крайних либералов Европы: у нас тоже искали потаенной Франции, вместо той, которая была на виду, и ожидали, что первая рано или поздно сменит вторую. Смена и действительно произошла скорее, чем ожидали ее, – и дала совсем непредвиденные результаты. Она именно очистила дорогу великолепной французской империи, которая так хорошо отметила за все предшествовавшие ей правительства, рассеяв и подавив как своих, так и их врагов. Кажется, в этой роли Немезиды и состоит все ее историческое призвание. В России один только Т. Н. Грановский, по особенному историческому чутью, которым был наделен, и по присущему ему чувству истины старался как можно менее вторить хору ругателей монархии Луи-Филиппа, а в числе его ругателей были у нас очень высокопоставленные правительственные лица. Помню, что летом 1845 года несколько слов, сказанных мною в защиту Гизо на даче в Соколове (близ Москвы), возбудили общий насмешливый протест друзей. Грановский, однако же, при самом разгаре спора взял меня под руку и, уводя в соседнюю аллею, про-

молвил им с юмором в интонации, не передаваемым на бумаге: «Оставьте нас с ним наедине потолковать, господа, и об нас не беспокойтесь. Мы к вам вернемся порядочными людьми». И тогда-то выразил он мнение, что политические идеалы Гизо преднамеренно узки и скромны, соответственно тому невеликому представлению о политических способностях французов, которого министр никогда не скрывал. «Но пренебрежение к народному духу, – добавил Грановский, – не может обойтись даром во Франции: она знает, что этому духу обязана своим местом и ролью в истории Европы. Так или иначе, рано или поздно, система Гизо и Луи-Филиппа не выдержит: они и умны и ошибаются не по-французски, и вот это-то им не простится». Я не думал тогда, что слова Грановского были – пророчество.

Надо заметить и то, что борющаяся и так интересовавшая всех позади стоящая, революционная Франция производила свои нападки на строй конституционной жизни и порядки, ею заведенные, с большою ловкостью, энергиею и замечательным талантом: она почти вся состояла из даровитейших людей эпохи. Группа писателей, преследовавшая свистками систему Луи-Филиппа, производила неотразимое впечатление на лиц, образованных литературно, да обладала и другим привлекательным качеством. Она поднимала, кроме вопросов текущего дня, перед которыми мы всегда чувствовали слабость своего практического опыта и суждения, еще и все-го более широкие, отвлеченные вопросы будущности, темы

нового социального устройства Европы, смелые постройки новых форм для науки, жизни, нравственных и религиозных верований, а наконец критику всего хода европейской цивилизации. Здесь мы уже были, что называется, на просторе, приученные измала к великолепным ипотезам, к широким, изумительным обобщениям и умозаключениям.

Таким образом, когда осенью 1843 года я прибыл в Петербург, то далеко не покончил все расчеты с Парижем, а, напротив, встретил дома отражение многих сторон тогдашней интеллектуальной его жизни ^[63].

Книга Прудона «De la propriété», тогда уже почти что старая; «Икария» Кабе, малочитаемая в самой Франции, за исключением небольшого круга мечтательных бедняков-работников; гораздо более ее распространенная и популярная. система Фурье, – все это служило предметом изучения, горячих толков, вопросов и чаяний всякого рода¹⁸

¹⁸ Я уже не говорю о новой религии «человечества», изложенной фантастическим теозофом Пьером Леру и его книге «De l'Humanité»: она по близости к надоевшему пиетизму и невыдержанности мысли в философском отношении, к чему мы были всегда очень чувствительны, не имела особенного успеха. Я цитирую разные книги на память, может быть не совсем точно обозначая их полное заглавие. (Прим. П. В. Анненкова.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

В. Г. Белинский переехал из Москвы в Петербург в конце октября 1839 г. для ведения критического отдела в журнале «Отечественные записки». Большую роль в привлечении Белинского к сотрудничеству в обновленном журнале сыграл И. И. Панаев (1812–1862) – беллетрист реалистического направления, один из основных сотрудников «Отечественных записок», а с 1847 г., вместе с Н. А. Некрасовым – издатель обновленного «Современника». Панаев был искренне привязан к Белинскому, принимал горячее участие в его нелегкой судьбе, сочувствовал его идейным устремлениям и с конца тридцатых годов до последних дней критика принадлежал к его ближайшему окружению (см. об отношениях Белинского и Панаева во второй части «Литературных воспоминаний» последнего и в его «Воспоминании о Белинском» – Гослитиздат, 1950. редакция текста, вступительная статья и примечания И. Г. Ямпольского). Вскоре по приезде в Петербург, очевидно через Панаева, Белинский вошел в «молодой и шумный» кружок А. А. Комарова. Поначалу кружок этот состоял из любителей литературы и искусства, из начинающих литераторов, группировавшихся вокруг прогрессивных тогда изданий Краевского. «Субботы» А. А. Комарова посещали И. И. Панаев, П. В. Анненков, И. И. Маслов, М. А. Языков, Н. Я. Прокопович, художник

К. А. Горбунов, в дальнейшем – Н. Н. Тютчев, А. Я. Кульчицкий и др. На одной из «сходок» у Комарова П. В. Анненков и познакомился с Белинским. Первое упоминание об Анненкове, равно как и о А. А. Комарове, в письмах Белинского относится к середине июня 1840 г. «Доставитель этого письма, г. Анненков, – писал Белинский В. П. Боткину 13 июня, – мой добрый приятель, хоть я виделся с ним счетом не больше десяти раз... ты увидишь, что это бесценный человек, и полюбишь его искренно. От него ты услышишь многое обо мне интересное, о чем не хочу писать... Анненков тебе сообщит и о моих новых знакомствах, особенно о Комарове. Я вошел в их кружок и каждую субботу бываю на их сходках» (Белинский, т. XI, стр. 530).

2.

Каченовский Михаил Трофимович (1775–1842) – журналист, профессор истории Московского университета. В исторической науке заявил себя критиком авторитета Карамзина. По этой причине Каченовский, очевидно, и сочувствовал молодому Белинскому, тоже потрясавшему литературные авторитеты.

3.

«Библиотека для чтением — ежемесячный журнал «словесности, наук, художеств, промышленности, новостей

и мод», основанный в Петербурге в 1834 г. на средства издателя-книготорговца А. Ф. Смирдина (1795–1857); до конца 1856 г. выходил под редакцией профессора восточных языков Петербургского университета О. И. Сенковского (1800–1858) – «Известные сатурналии» — беспринципные, рассчитанные на скандальный эффект критические оценки О. И. Сенковского с целью дезориентировать, «запугать молодое поколение» (Белинский). Сенковский превозносил, например, ходульно-романтические драмы Н. Кукольника, стихи Бенедиктова и глумился над произведениями Гоголя, над поэзией Пушкина и Лермонтова. «Чем взял Сенковский? – писал Белинский в начале 1840 г. – Основную мыслью своей деятельности, что учиться не надо и что на все в мире надо смотреть шутя» (Белинский, т. XI, стр. 453).

4.

Греч Николай Иванович (1787–1867) – литератор, автор довольно популярной в свое время повести «Черная женщина», редактор журнала «Сын отечества» и соредактор Ф. В. Булгарина (1789–1859) по газете «Северная пчела». До разгрома декабристов Греч придерживался либерального направления, а после 1825 года круто повернул вправо и вкупе с Булгариным стал ревностным сторонником правительственной реакции. «Сиамские близнецы», как их называли, Греч и Булгарин представляли крайнюю реакционную «партию» в литературе того времени,

связанную с 111 отделением и опирающуюся в своей травле всего передового и прогрессивного на поддержку высокопоставленных чиновных кругов.

5.

Анненков имеет здесь в виду литературно-философский кружок тридцатых годов, объединившийся вокруг воспитанника Московского университета Николая Владимировича Станкевича (1813–1840) и состоявший, главным образом, из той части московской университетской молодежи, которая увлекалась тогда немецкой философией. Наряду с кружком Герцена, интересовавшимся преимущественно социально-политическими вопросами, кружок Станкевича сыграл важную роль в развитии русской передовой мысли. Но Анненков не был в кружке Станкевича; он только с появления Белинского в Петербурге «получил понятие» о нем (ЛН, т. 67, стр. 547) и потому впадает здесь в ошибку, когда, очевидно со слов В. П. Боткина, объявляет Белинского «простым эхом» суждений и приговоров, существовавших в недрах кружка. Такую же ошибку он допускает и в «Биографии Н. В. Станкевича» (1857). Спорной, а подчас и неверной является характеристика, которую дает Анненков ниже первой обзорной и просветительской по своей направленности статье Белинского «Литературные мечтания».

6.

Анненков имеет в виду Сергея Николаевича Глинку (1775–1847) – редактора издателя журнала «Русский вестник», одержимого ура-патриотическими и националистическими идеями.

7.

Заговор против литературы — борьба так называемого с литературного триумvirата», то есть Булгарина («Северная пчела»), Греча («Сын отечества») и Сенковского («Библиотека для чтения»), против передовой русской литературы того времени во главе с Пушкиным и Гоголем. В этой борьбе «литературный триумvirат» опирался на поддержку официальных кругов и «светской черни».

8.

Масальский К. П. (1802–1861), Степанов А. П. (1781–1837), Тимофеев А. В. (1812–1883), Кукольник Н. В. (1809–1868) – посредственные литераторы официозно-реакционного направления, развращавшиеся похвалами и поддержкой барона Брамбеуса (литературный псевдоним Сенковского), Булгарина и Греча. Имея в виду целую школу литераторов, группировавшихся вокруг «литературного триумvirата», Герцен писал: «Подобные цветы могли расцвести лишь у подножья императорского трона да под сенью Петропавловской крепости» (Герцен, т. VII, стр. 221).

9.

«Телескоп — журнал, издававшийся в Москве в 1831–1836 гг. с приложением еженедельника «Молва»; редактировался профессором Н. И. Надеждиным. В этом журнале и газете с 1834 г. вел борьбу с «литературным триумвиратом», главным образом, Белинский. Журнал был закрыт правительством в 1836 г. за напечатание «Философического письма» П. Я. Чаадаева. — «Московский наблюдатель — журнал, издававшийся в 1835–1837 гг. под редакцией В. П. Андросова при ближайшем участии С. П. Шевырева и М. П. Погодина. Вначале Пушкин и Гоголь поддерживали этот журнал, рассчитывая, что он будет серьезно «бороться с литературными концессионерами». Но Шевырев и Погодин повели дело так, что уже с первых номеров «Московский наблюдатель» заявил себя врагом не «Библиотеки для чтения», не изданий Булгарина и Греча, а «Телескопа» и в первую очередь Белинского. «Московский наблюдатель» влачил жалкое существование, и уже в статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» Гоголь писал о его безжизненности. «Современник» Пушкина, напечатавший в первом номере вышепоименованную статью Гоголя, наносившую главный удар «Библиотеке для чтения», тоже вскоре захирел со смертью поэта.

10.

Очевидно, Анненков не имеет здесь в виду какого-то определенного факта – размолвки Белинского с Герценом, несогласий его с Грановским или же столкновений с отдельными членами кружка Станкевича – В. Боткиным, М. Бакуниным, К. Аксаковым и др. на почве издания «Московского наблюдателя» и резких выступлений критика в печати. Белинский и Герцен не были еще друзьями, с Грановским у критика дело не дошло до размолвки, а столкновения с К. Аксаковым и др. не приобрели еще остро конфликтного характера. Мемуарист обобщает множество фактов, предположительно трактует высказывания Белинского, имея в виду «разрыв» его с «московскими друзьями» в самом широком смысле этих слов, то есть тот «разрыв», ту подспудную дифференциацию в кружках, те накапливавшиеся разногласия в них, которые вскоре выльются в размежевание. В таком широком плане трактует Анненков ниже и отрывки из отдельных статей Белинского.

11.

И здесь и выше с незначительными отклонениями приводятся отрывки из статьи Белинского «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя», напечатанной в книгах 5-й и 6-й «Телескопа» за 1836 г. (см. Белинский, т. II, стр. 172 и 177); в двух последних

случаях курсив принадлежит Анненкову. Очевидно, лирический пафос этой статьи действительно навеян, как проницательно догадывается Анненков, осложнениями отношений Белинского с друзьями по кружку Станкевича, обвинявшими его в «крайностях», в нападках на «личность» – особенно в связи с появлением незадолго перед этим резкой статьи против Бенедиктова. Даже Н. Станкевич писал тогда о Белинском, что он якобы «оскорбил» «человеческую сторону». Бенедиктова.

12.

Анненков вольно цитирует здесь отзыв Белинского о «Современнике» из его рецензии на вторую книжку этого журнала (см. Белинский, т. II, стр. 234). Поначалу Белинский «радушно и искренно» приветствовал пушкинское издание. В первой книжке «Современника» его восхитила статья Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 г.» (там же, стр. 178–184). О второй же книге журнала, особенно о статьях сторонника «светскости» в литературе кн. П. А. Вяземского, Белинский отозвался резко отрицательно.

13.

Имеется в виду столкновение с Герценом, Грановским и др. (см. «Былое и думы», ч. IV, гл. XXV). По-видимому, встречи и споры Герцена с Белинским происходили в

сентябре 1839 г. (Герцен приехал в Москву с семьей 23 августа и жил там до 1 октября). На это косвенно указывает и событие – бородинская годовщина, – явившееся ближайшим поводом для горячих споров и нашедшее в дальнейшем отклик в полемически заостренных против Герцена статьях Белинского. Есть основание думать, что в спорах были затронуты не только политические вопросы, в которых правда была на стороне Герцена, но и вопросы русской литературы, русского искусства (в частности, вопрос о Пушкине – на это указывает сам Герцен, ссылаясь на «Бородинскую годовщину» Пушкина), и здесь Белинский был неизмеримо выше Герцена и его круга, не освободившегося еще от романтизма. Не случайно в письме Белинского к Н. Станкевичу от 29 сентября/11 октября содержится наряду с ироническим отзывом о вкусах Грановского, ставившего Шиллера выше Пушкина и плакавшего от восторга над стихами Бенедиктова (свидетельство И. С. Тургенева), не менее иронический отзыв и о наших «московских, Грановских», для которых «Жуковский выше Пушкина», а простота содержания при художественной форме, как и для многих, – камень преткновения (Белинский, т. X 1, стр. 381).

14.

Рецензия Белинского «Бородинская годовщина В. Жуковского» появилась в № 10 «Отечественных записок»

за 1839 г. (цензурное разрешение 14 октября), когда Белинский, действительно, не был еще постоянным сотрудником журнала Краевского. Рецензия же на «Очерки Бородинского сражения» Ф. Глинки появилась в № 12 «Отечественных записок» за 1839 г. (цензурное разрешение 14 декабря). К этому времени Белинский уже переехал в Петербург и состоял сотрудником «Отечественных записок».

15.

Герцен «явился в Петербург» на короткое время не «через год», а через два месяца после отъезда туда Белинского, во второй половине декабря 1839 г. – и тогда же, по-видимому, встречался с Белинским, о чем мы можем догадываться на основании письма Белинского к Боткину от 30 декабря 1839 г. («Герцен был восторжен и упоен Каратыгиным в роли Гамлета»). Возможно, что к этому времени и относится их столкновение, о котором Герцен рассказывал Анненкову.

16.

Герцен пробыл в Новгороде с июля 1841 г. по июль 1842 г., после чего возвратился не в Петербург, а в Москву. «Примирение» же его с Белинским произошло значительно раньше – во второй половине 1840 г., когда Герцен переехал служить в Петербург (ср. отзыв Белинского о Герцене в письме к В. П. Боткину от 3–10 февраля 1840 г. – Белинский,

17.

Анненков упрощает содержание статьи Белинского. Ее пафос не в признании прав выдающихся личностей, а в утверждении «реального такта», необходимого для общественного деятеля, в обосновании первостепенной роли «исторических обстоятельств» для плодотворной практической деятельности.

18.

М. Бакунин умер в 1876 г. Говоря о нем как об «отрицателе всех доселе, известных форм правления» и т. д., Анненков имеет в виду анархизм Бакунина во вторую половину жизни. Первая же его «ошибка» в диалектической логике – истолкование в реакционном духе философии Гегеля, в частности формулы; «Все действительное разумно».

19.

См. об этом в главе XXIX «Былого и дум» Герцена в разделе II, «На могиле друга». Однако Герцен, а вслед за ним и Анненков, правильно оценивая исключительные философские способности Белинского, преувеличивают способности Прудона. Идеалист и доктринер, Прудон освоил, по выражению К. Маркса в «Нищете философии», лишь «язык» диалектики, а не ее сущность, и потому

не пошел дальше софистики (см., например, критику «диалектики» Прудона у К. Маркса в главе второй «Нищеты философии» или же в его письме к Анненкову от 28 декабря 1846 г. – «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», М. 1951, стр. 10–21).

20.

По-видимому. Анненков имеет в виду факт, впервые сообщенный в печати Герценом, писавшим в своей книге «О развитии революционных идей в России»: «Однажды, сражаясь в течение целых часов с богобоязненным пантеизмом берлинцев, Белинский встал и дрожащим, прерывающимся голосом сказал: «Вы хотите меня уверить, что цель человека – привести абсолютный дух к самосознанию, и довольствуетесь этой ролью, ну, а я не настолько глуп, чтобы служить невольным орудием кому бы то ни было. Если я мыслю, если я страдаю, то для самого себя. Ваш абсолютный дух, если он и существует, то чужд для меня. Мне незачем его знать, ибо ничего общего у меня с ним нет» (Герцен, т. VII, стр. 237).

21.

Белинский жил в Премухине (тверском имении Бакуниных) с конца августа до середины ноября 1836 г.

22.

Известное письмо Уварову (между 24 февраля и 4 марта 1842 г.) – см. Гоголь, т. XII, стр. 39–41.

23.

Несмотря на склонность к памфлету и явную тенденциозность в характеристике Бакунина, Анненков все же верно подмечает те его черты – дилетантизм, поверхностность, фразерство, игру идеями, деспотичность и проч., – которые отталкивали в свое время Белинского и приводили его к резким столкновениям с Бакуниным (см. об этом письма Белинского к Бакунину от 10 сентября 1838 г., от 12–24 октября этого же года и др. – Белинский, т. XI, стр. 281–305, 307–348).

24.

Анненков явно сгущает краски. В письме к Пыпину от 3 июля 1874 г. он более объективно и более глубоко, на наш взгляд, расценивал правогегельянский искуc Белинского. «Примите особенную благодарность, – писал он, – за вашу мысль о том, что консервативная теория Белинского 1840 г. стояла выше разодранных протестов прежнего времени, потому что представляла уже систему, из которой мог быть выход, между тем как из порывов и стремлений никакого выхода не бывает» (ЛН, т. 67, стр. 547). Кроме того, Белинский всегда был не только свободен от какого бы то ни было «послушнического» подчинения Гегелю и его системе,

как пишет Анненков, но и оригинален в своих философских исканиях и особенно в своих критических суждениях (см. например, его письмо к М. Бакунину от 12–24 октября 1838 г. – Белинский, т. XI, стр. 313).

25.

На самом деле «многие из друзей редактора» (М. Бакунин, В. Боткин, К. Аксаков и др.) были «недовольны» не «примирением» Белинского, как пытается представить Анненков, а его обличениями, его независимостью и активным вмешательством с помощью журнала во все важнейшие вопросы жизни того времени. И друзья не раз пытались «образумить» Белинского ссылками на авторитет Гегеля, Станкевича, с помощью своеобразной «дружеской» цензуры и т. д. Когда же «образумить» Белинского не удалось, «друзья» попросту перестали сотрудничать в журнале. Объясняя свои неудачи с «Московским наблюдателем», Белинский писал Станкевичу: «Участие приятелей моих прекратилось – я остался один; цензура теснила» (Белинский, т. XI, стр. 399). Так уже в период «Московского наблюдателя» началось то распадение разнородных элементов в кружке «друзей Станкевича», которое в начале сороковых годов выльется в идейное размежевание. Что же касается неудачи с этим журналом, то Белинский принял его редактирование в тот момент, когда журнал был уже загублен прежней редакцией. Издатель

Степанов срывал выход номеров в срок, цензура снимала статью за статьей, и если все же «Московский наблюдатель» выходил в течение длительного времени (апрель 1838 г. – июнь 1839 г.) и стал при Белинском едва ли не лучшим русским журналом, то это объясняется только неутомимой деятельностью редактора.

26.

«Московский наблюдатель» редакции Белинского т. XVI кн. I, цензурное разрешение 11 апр. 1838 г.) в качестве философской программной статьи имел предисловие М. Бакунина к его же переводу «Гимназических речей Гегеля» (стр. 5–20). Статья же Ретшера, тоже программная по вопросам эстетики и критики, в переводе и с предисловием М. Каткова, была напечатана в т. XVII (цензурное разрешение 22 сентября 1838 г.).

27.

Цитата (с пропусками) из статьи Белинского под названием: «Полное собрание сочинений Д. И. Фонвизина. – Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (см. Белинский, т. II, стр. 565). Статья эта была напечатана в «Московском наблюдателе» (т. XVIII, кн. II – цензурное разрешение 16 ноября 1838 г.) и посвящена преимущественно вопросам теории искусства.

28.

Анненков имеет в виду статью Белинского «Гамлет». Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета». Начальная часть статьи была напечатана через посредство Н. Полевого в «Северной пчеле» (1838, № 4), полностью статья появилась в «Московском наблюдателе» в I и II мартовских, I апрельской книжках за 1838 г. (т. XVI). Основываясь на отдельных, отнюдь не главных положениях, Анненков субъективно трактует содержание этой статьи Белинского, не утратившей своего позитивного значения и до сих пор.

29.

Цитируется отрывок из рецензии Белинского на книжки «Современника», изданные после смерти поэта. Рецензия напечатана в разделе «Литературная хроника» в «Московском наблюдателе» (1838, т. XVI, март, кн. I). Курсив принадлежит Анненкову (см. Белинский, т. II, стр. 348–349).

30.

Приводится с пропусками отдельных фраз отрывок из рецензии Белинского «Очерки Бородинского сражения (Воспоминания о 1812 году)». Сочинение Ф. Глинки», опубликованной в «Отечественных записках», 1839, № 12 (см. Белинский, т. III, стр. 341).

31.

Анненков имеет в виду письмо Белинского к И. И. Панаеву, впервые опубликованное последним в его «Воспоминании о Белинском», напечатанном в «Современнике», 1860, № 1 (см. это письмо – Белинский, т. XI, стр. 371–374). Вторая часть «Фауста» Гете действительно подала повод к полемике между Белинским и остальными членами кружка. В письме к М. Бакунину от 12–24 октября 1838 г., в котором Белинский отстаивал свою независимость от Гегеля, он заявлял, имея в виду Вторую часть «Фауста» Гете, что «символы и аллегории» для него – «не поэзия, но совершенное отрицание поэзии, унижение ее» (Белинский, т. XI, стр. 314).

32.

Московские знакомые и доброжелатели — очевидно, М. Погодин, С. Шевырев и Киреевские, тяготевшие к «Московскому наблюдателю» в период фактического его редактирования С. Шевыревым. О Гоголе в «Московском наблюдателе» писал сам Шевырев. Статья его о «Миргороде» появилась в журнале в 1835 г. (ч. I, март, кн. 2) и вызвала ядовитый отклик Белинского в его обзоре «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя»» (см. Белинский, т. II, стр. 136–137).

33.

«Место», которое прочел Гоголь, содержится в обзорно-теоретической части статьи Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя» (Белинский, т. I, стр. 286–287). В этой же статье Белинский положительно оценивал и повести Н. А. Полевого – «Живописец», «Эмма», «Рассказы русского солдата» и др. (Белинский, т. I, стр. 278–280).

34.

«Московский телеграф»)» Н. А. Полевого, основанный в 1825 г., был лучшим по тому времени журналом в России. Запрещен в начале апреля 1834 г. по повелению Николая I. Поводом к запрещению послужил отрицательный отзыв редактора о пьесе Н. Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла».

35.

Белинский опровергал критика «Московского наблюдателя», то есть С. П. Шевырева, многократно. По поводу мнения Шевырева о гоголевском «слышу» Белинский писал в той же статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» (см. Белинский, т. I, стр. 305).

36.

Анненков имеет в виду целый ряд выступлений Белинского в защиту комедии, начиная с его первой рецензии «Московские записки» на постановку «Ревизора» на

московской сцене («Молва», 1836, ч. XI, № 8). Уже в этой рецензии, ошибочно не включенной в состав академического собрания его сочинений, Белинский охарактеризовал появление «Ревизора» как начало подлинно русского «национального театра». В статьях 1838 г. «Московский театр» и «Петровский театр» Белинский называл «Ревизора» «гениальным созданием», «великим произведением драматического гения» («Московский наблюдатель», 1838, т. XVI, апрель, кн. I и т. XVII, июнь, кн. II). Развернутый анализ комедии он дал статье «Горе от ума», написанной в конце 1839 г. и опубликованной в «Отечественных записках», 1840, № 1.

37.

В этой заметке (1836) Белинский не «объявлял» Гоголя «европейским художником». Заметка содержит отповедь реакционной журналистике («Северная пчела» Булгарина, «Библиотека для чтения» Сенковского и др.), нападавшей на реалистическую «общественную» комедию Гоголя. В конце заметки Белинский писал: «Ревизор» г. Гоголя превосходен, а «Недовольные» г. Загоскина... что делать?.. очень плохи» (Белинский, т. II, стр. 232).

38.

«Зимой 1839 года» Белинский не был в Москве, а встречался с Гоголем в Петербурге в доме В.Ф. Одоевского; на чтении

у Н. Я. Прокоповича не присутствовал, по-видимому, по той причине, что не был в то время близко знаком ни с Прокоповичем, ни с людьми, бывавшими у него, в том числе и с Анненковым.

39.

Люди надежного образа мыслей — Погодин, Шевырев и все более настраивавшиеся на воинствующий славянофильский лад К. Аксаков, И. Киреевский и др., с которыми Гоголь сближается в это время.

40.

Анненков вольно цитирует вторую часть обзора Белинского «Русские журналы», напечатанную в «Московском наблюдателе», 1839, ч. II, № 4 (ср. Белинский, т. III, стр. 189–190). Через год в статье «Герой нашего времени». Сочинение М. Лермонтова» он восторженно отзывался о «чудно поэтической «Думе», исполненной благородного негодования, могучей жизни и поразительной верности идей» (Белинский, т. IV, стр. 254–255). В дальнейшем он неизменно высоко оценивал это стихотворение именно за его обличительное содержание, относя «Думу» к роду поэзии «наиболее социальному и гражданскому».

41.

Анненков цитирует статью Белинского 1840 г. «Герой

нашего времени». Сочинение М. Лермонтова», но обрывает цитату на середине. Далее Белинский объясняет, как он понимает эту черту характера Печорина. «Она кажется нам преувеличением, – пишет он вслед за словами, приведенными Анненковым, – умышленною клеветою на самого себя, чертою изысканною и натянутою; словом, нам кажется, что здесь Печорин впал в Грушницкого, хотя и более страшного, чем смешного... И, если мы не ошибаемся в своем заключении, это очень понятно: состояние противоречия с самим собою необходимо условливает большую или меньшую изысканность и натянутость в положениях...» (Белинский, т. IV, стр. 246). Курсив в цитате принадлежит Анненкову.

42.

Имеется в виду статья-памфлет Белинского «Менцель, критик Гете», напечатанная в «Отечественных записках», 1840, № 1. Статья начата в Москве, но закончена, очевидно, в Петербурге. Поводом для написания явился русский перевод книги В. Менцеля под названием «Немецкая словесность». Статья Белинского содержит много правды о Менцеле – либерале-демагоге и перекликается с гневными разоблачениями Менцеля в памфлетах Гейне и Берне. Но по своим общетеоретическим и общественно-политическим основам она примыкает к циклу статей Белинского, навеянных его правогегельянскими заблуждениями. Уже в

конце 1840 г. сам Белинский решительно осуждал эту статью (см. Белинский, т. XI, стр. 576).

43.

Боткин Василий Петрович (1811–1869) – литератор, сотрудничавший в «Отечественных записках», а затем в «Современнике». В молодости – член кружка Станкевича, в сороковые годы – буржуазный либерал, западник, примыкавший к правой части московского кружка Герцена и Грановского. В пятидесятые годы Боткин, как и Анненков, – сторонник буржуазного «прогресса», без революционных потрясений, и реформ «по манию» царя, а в шестидесятые годы – озлобленный реакционер, сторонник самых крутых мер расправы с революционной «партией», чернивший имена друзей своей молодости – Белинского и Герцена. Анненков познакомился с Боткиным по рекомендации Белинского (см. об Анненкове в письмах Белинского 1840 г. к Боткину – Белинский, т. XI, стр. 530, 532, 540, 554, 559, 580); в дальнейшем их связывала многолетняя дружба (см. письма Боткина разных лет к Анненкову в книге Анненков и его друзья, стр. 516–577). Перу Анненкова принадлежит прочувствованный некролог Боткина (см. в той же книге, стр. 577–581).

44.

Имеется в виду статья Белинского «Горе от ума». Сочинение

А. С. Грибоедова»; написана осенью 1839 г. в связи со вторым изданием комедии и опубликована без подписи в «Отечественных записках», 1840, № 1.

45.

С незначительными отклонениями цитируются отрывки из названной статьи (ср. Белинский, т. 111, стр. 454 и 448). Курсив принадлежит Анненкову.

46.

В письме к Боткину от 10–11 декабря 1840 г., касаясь своих ошибочных критических оценок периода «примирения», Белинский писал: «После этого всего тяжелее мне вспомнить о «Горе от ума», которое я осудил с художественной точки зрения и о котором говорил свысока, с пренебрежением, не догадываясь, что это – благороднейшее гуманическое произведение, энергический (и притом еще первый) протест против гнусной расейской действительности, против чиновников, взяточников, бар-развратников, против нашего... светского общества, против невежества, добровольного холопства и пр., и пр., и пр.»(Белинский, т. XI, стр. 576).

47.

Статья Белинского «Очерки русской литературы». Сочинение Николая Полевого» появилась в «Отечественных

записках», 1840, № 1, и содержала уничтожающий разбор «мнений и понятия об изящном и русской поэзии», высказанных Н. Полевым в статьях о Державине, Жуковском и Пушкине. Еще в феврале 1839 г., в письме к И. И. Панаеву, Белинский писал о Н. Полевом: «Я, и никто другой, должен спихнуть его с синтеза и анализа и со всего этого хламу пошлых, устарелых мнений и чувствований, на которых он думает выезжать и которыми думает запугать новое поколение» (Белинский, т. XI, стр. 362). В последующие годы Белинский не раз резко выступал против Н. Полевого, и лишь смерть последнего в 1846 г. положила естественный конец этой борьбе. В брошюре-некрологе «Николай Алексеевич Полевой» (1846) Белинский дал объективную оценку и заслуг и ошибок Н. Полевого.

48.

Пьеса Белинского «Пятидесятилетний дядюшка, или Странная болезнь. Драма в пяти действиях» была напечатана в «Московском наблюдателе», 1839, ч. П. Встреча критика с И. Срезневским произошла в этом же году (а не «через несколько лет») по приезде Белинского в Петербург (см. об этом Белинский, т. XI, стр. 419).

49.

«Патриоты-консерваторы» и «образованные люди», подобные Шевыреву, преследовали Белинского не потому,

что якобы «не разгадали» смысла его философских статей, как пишет Анненков, а потому, что великолепно чувствовали органически враждебный им просветительский характер всей деятельности критика, который не смогли заглушить даже и декларации его о «примирении с действительностью».

50.

Статья М. Н. Каткова «Сочинения в стихах и прозе графини С. Ф. Толстой», прокламировавшая подсознательность художественного творчества, была напечатана в № 10 «Отечественных записок» за 1840 г. Уже при первом чтении Катковым этой статьи у Краевского Белинский «был оглушен, но нисколько не наполнен» ею и тогда же отметил «какую-то тяжеловатость» статьи, «особенно в начале», хотя и сказал А. А. Комарову и другим, в том числе, очевидно, и Анненкову, что «такой статьи не бывало на свете» (Белинский, т. XI, стр. 565, т. XII, стр. 11). Последующие отзывы Белинского об этой статье, равно как и об ее авторе, были неизменно отрицательные. «Вообще этот человек, – писал Белинский о Каткове, – как-то не вошел в наш круг, а пристал к нему» (Белинский, т. XII, стр. 12). Это отрицательное отношение еще более усилилось, когда Катков увлекся в Берлине реакционно-мистической философией Шеллинга периода «откровения»

51.

Анненков ошибочно датирует свой и М. Каткова отъезд за границу 5 октября. «Катков уехал 19 октября, в субботу, – писал Белинский Боткину 25 октября 1840 г. – Я, Панаев, Языков и Кольцов провожали его в Кронштадте» (Белинский, т. XI, стр. 564).

52.

См. об этом в статье Белинского, написанной в 1846 г., «О жизни и сочинениях Кольцова» (Белинский, т. IX, стр. 497–542).

53.

Основан в 1840 г. В качестве программы, как и «Москвитянин», редактировавшийся М. Погодиным и С. Шевыревым, имел уваровскую формулу: «Самодержавие, православие, народность». В дальнейшем Белинский не раз подчеркивал единство этих ретроградных журналов, именуя «Маяк» «петербургским «Москвитянином».

54.

Цитируется (с пропусками) рецензия Белинского на роман «автора «Семейства Холмских» (то есть Д. Н. Бегичева) «Ольга. Быт русских дворян в начале нынешнего столетия», напечатанная в октябрьском номере «Отечественных записок» за 1840 г. Рецензия содержала едкую критику

реакционной программы «Маяка». «За Дзункинадзына Корсаков и Бурачок подали и напечатали на «Отечественные записки» донос, – писал Белинский 25 октября 1840 г., – но, кажется, дело обошлось ничем» (Белинский, т. XI, стр. 565). Печатный донос – статья С. О. Бурачка «Система философии «Отечественных записок», появившаяся в девятой книжке «Маяка».

55.

Рецензия Белинского на фантастический роман Р. Зотова «Цын-Киу-тонг, или Три добрые дела духа тьмы» (1840) была напечатана в «Отечественных записках», 1841, № 1; рецензия на «Первое действие комедии» С. Н. Навроцкого «Новый Недоросль» – в составе обзора «Русский театр в Петербурге» в «Отечественных записках», 1840 т. XII, № 10.

56.

Попытка правительства Луи-Филиппа упрочить французское влияние в Сирии и Египте вызвала сопротивление России» Австрии, Пруссии, – поддержанных Англией. Этими событиями и подогревалось казенно-патриотическое возбуждение в Германии, которое; описывает здесь Анненков.

57.

Соглашение от 15 июля 1840 г. между Англией, Австрией,

Пруссией и Россией не носило такого «мирного» характера, какой приписывает ему Анненков. Это соглашение расценивалось Марксом как попытка возобновления Священного союза против Франции (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 9, М. 1957, стр. 381).

58.

Имеются в виду «Hallische Jahrbucher» Руге, то есть «Галльские ежегодники немецкой науки и искусства», орган левых гегельянцев, основанный в 1838 г. и издававшийся немецкими буржуазными радикалами во главе с Арнольдом Руге (1802–1880). В 1841 г. вследствие преследований прусской цензуры журнал был перенесен из Галле в Лейпциг и вплоть до запрещения в 1843 г. выходил под названием «Deutsche Jahrbucher» («Немецкие ежегодники»). Анненков преувеличивает революционность органа Руге. Руге, по словам Ф. Меринга, «больше шумливый и придирчивый филистер, чем истинный революционер» («История германской социал-демократии», Госиздат, 1920, т. 1, стр. 86).

59.

Известная книга Штрауса – нашумевший в свое время трактат «Жизнь Иисуса» («Das Leben Jesus», 1835), в котором Давид-Фридрих Штраус (1808–1874) подверг критике евангельскую истерию божественного

происхождения Христа. О запрещении этой книги в России см. материалы, опубликованные в «Каторге и ссылке», 1929, кн. 6, стр. 195.

60.

См. о первом заграничном путешествии Анненкова в его «Письмах из-за границы» (Анненков и его друзья, стр. 122–247).

61.

Отставка министра-президента Луи-Адольфа Тьера произошла в октябре 1840 г., и тогда же его место занял Франсуа Гизо, фактически возглавлявший правительство Луи-Филиппа вплоть до февральской революции 1848 г.

62.

В этой главе особенно ясно проступают политические идеалы самого Анненкова, характерные для русского помещичьего либерализма вообще. Симпатии Анненкова на стороне либерала-англомана и доктринера Гизо. Вместе с Грановским Анненков защищал Гизо и в спорах в Соколове летом 1845 г.

63.

Для Белинского, Герцена. Грановского, а затем Петрашевского вопрос об идейной жизни Франции не

был отвлеченным, как представляет дело Анненков. Этот интерес вызывался раздумьями о будущем России, о путях ее развития. Естественно поэтому, что уже в начале сороковых годов в дискуссиях по этим вопросам имело место не единство, как утверждает Анненков в конце этой главы, а расхождение, и сразу же наметились, хотя вначале и глухо, две линии: демократическая, утопически-социалистическая, с одной стороны, и либерально-монархическая – с другой. Вставал ли вопрос об отношении к Июльской монархии (ср. например, симпатии Анненкова к Июльской монархии и позицию Белинского, со всей определенностью проявившуюся в статье о «Парижских тайнах» Эжена Сю), или об отношении к партиям Великой французской буржуазной революции (разногласия Белинского и Грановского), или, наконец, о роли буржуазии в истории Франции, в связи с публикацией в 1847 г. в «Современнике» «Писем из Avenue Marigny» Герцена (см. полемику Белинского и Герцена с В. Боткиным, Грановским и др.), – в различных ответах на эти вопросы явственно ощущаются две тенденции: демократическая и либеральная. Принципиальная политическая противоположность этих линий особенно четко проступает в период после поражения революции 1848 г. С одной стороны, имеет место «крах буржуазных иллюзий в социализме» и постепенное освобождение от них (Герцен), с приближением «к суровой, непреклонной, непобедимой классовой борьбе

пролетариата» (Ленин) С другой стороны, тоже имеет место «освобождение», но от былых «увлечений», от «крайностей», сопровождавшееся переходом к откровенной апологетике буржуазного миропорядка, к прославлению конституционной монархии и проч. (В. Боткин, Кавелин, Анненков и др.).